

РУССКИЕ
ПОВЕСТИ
XIX ВЕКА

Том I

1

Николай Алексеевич Полевой

Рассказы русского солдата

Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) — критик, теоретик романтизма, прозаик, историк, издатель журнала "Московский телеграф" (1825–1834).

В сборники включены произведения, в большинстве ставшие библиографической редкостью.

В первый том вошли произведения: В. Т. Нарезного, М. П. Погодина, А. А. Бестужева-Марлинского, Н. Ф. Павлова, О. М. Сомова, А. Ф. Вельтмана.

Во второй том входят произведения: Н. А. Полевого, Анатолия Погорельского, В. Ф. Одоевского, Г. Ф. Квитка-Основьяненко, М. Н. Загоскина, В. И. Даля.

Содержание

#1	0005
РАССКАЗЫ РУССКОГО СОЛДАТА	0005
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КРЕСТЬЯНИН	0006
ЧАСТЬ ВТОРАЯ СОЛДАТ	0070
ПРИМЕЧАНИЯ	0136



РАССКАЗЫ РУССКОГО СОЛДАТА

Богатыри! Неприятель от вас дрожит — да, есть неприятели больше — больше и богадельни — проклятая немогузнайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, кратко-молвка, двуличка, вежлилка, бестолковка кличка, что бестолково выговаривать: край, прикак, афок, ваиркак, рок, ад и проч. и проч. — стыдно сказать.

Поучение Суворова солдатам.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КРЕСТЬЯНИН

"А что, мужичок, как ты поживаешь?" — "А что, родимый, неча господу гневить; не без милости от господу; день прошел, так и до нас дошел..."

Кажется, это было в 1817 или 1818 году. Мне надобно было ехать в Острогжск и Воронеж; я жил тогда в Курске. До сих пор между настоящими русскими купцами нет обычая ездить на почтовых. Только со времени учреждения дилижансов купцы для езды между Петербургом и Москвою оставили вольных ямщиков и извозчиков. Но в других местах России повсюду они ездят еще на вольных, то есть нанимают условною ценою пару, тройку лошадей на некоторое расстояние, где извозчик сменяется, или сдает ездока другому; тот везет его опять известное расстояние и сдает третьему. Так от Тамбова, от Херсона можете доехать в Архангельск, в Казань, в Смоленск. Этот порядок езды идет издревле, с того времени, когда еще не было на Руси ни почтовых

лошадей, ни подорожен, и до сих пор сохраняется он между купцами, несмотря на большие неудобства. Главное неудобство то, что ныне, с потерю многих старинных обычаев, потерялись между нашими ямщиками и извозчиками верность данного слова и взаимная честность, по которой за цену, условленную, например, в Харькове, они свято довозили ездока до Москвы и до Вологды. Изменить ее никто не осмеливался. Какой-нибудь ямщик серпуховский, нарушив святость договора, никогда не смел бы потом отправить с своей стороны проезжего в Харьков: в Белгороде каком-нибудь проезжего, отправленного по договору ямщика, нарушителя своего слова, не повезли бы далее, потому что молва из уст в уста провозглашала бы нечестным нарушителя по всей дороге; старики положили бы повсюду: по договору такого-то проезжих не возить, и — на тысяче верстах никто не дерзнул бы взять сдачу от негодяя. Все это теперь утратилось; бедный проезжий подвержен по дороге всяческим обманам, притеснениям; у него забирают вперед деньги, заставляют его прибавлять, надоедают ему требованиями на

водку, везут худо и без русских поговорок, которые услышите от каждого мужика и которых не найдете ни в каком словаре... Да, вы найдете их в книге Пауля Якоба Марпергера "Moscowitischer Kaufmann", [1] изданной в Любеке в 1723 году. Автор приложил необходимые для путешественника слова и разговоры на русском и немецком языках. Он был мастер говорить по-русски, как видим из этих разговоров; он уверяет, например, что "покарауль мои сани" по-русски говорится: *stoi taem gdie phzanie stoid*; что *stote gchotsjes potche mutot tawar?* значит: "что просишь ты за этот товар?"; что *Jachotssju Lebie piathog aregchie dam* — "я тебе дам оплеуху" и проч. Вот он, приводя одну русскую дорожную поговорку, сказывает, что по-немецки это переводится: *fahre geschwind* (поезжай скорее). Без этого *fahre geschwind* вольные ямщики везут вас, как пресное молоко. "Ведь мы не почтовые, а вольные!" — говорит вам ямщик на крик ваш: "пошел" и невольно заставляет вспомнить пословицу: "воля не холя, а добра коня портит". Однакож купцы соглашаются лучше терпеть всякое притеснение, платить

дороже, спорить, шуметь, кричать, а не едут на почтовых лошадях. Тут много причин. Во-первых, купец обыкновенно едет целым домом; иногда везет с собой товар, всегда деньги и кучу постелей, подушек, ковров, полстей, подстилок, одеял, запасов, припасов, на дождливое время шинель, на холодное тулуп, на морозное шубу; и кроме того, дюжину коробок, коробков, сулеек, погребцов, чемоданов, фляжек, кульков, сум и проч. и проч. Нередко четверо, часто трое, никогда менее двух хозяев не сидит в этом подвижном доме, называемом повозкою, укрытом, обшитом, обитом сукном, холстиной, кожей, рогожами, обгороженном, загроможденном сзади, и спереди, и на передке коробами и всякою всячиною. Какой почтовый ямщик повезет, даже свезет с места эту громаду — ямщик, привыкший запрягать свою тощую клячу лычком и ремешком, ставить последнюю копейку ребром и столь же мало думающий: снесет ли он завтра свою голову, сколь мало помышляющий о том, как побережь ему седока и свою лошадь! Давай такому ямщику седока лихого, у которого вся поклажа сжалась в маленький чемо-

данчик, на защиту против ветра и непогоды всего только какой-нибудь клочок сукна или лоскуток бурки; давай ему курьера, который, зацепив трубку зубами, имеет непостижимую способность усидеть на веревочке, и не только усидеть, но и выспаться, пока остов телеги, без подстилки, без покрывки, летит на гору и под гору, тощие клячи несутся скорее вихря и ямщик в дырчатом балахоне, иногда в шапке летом, в шляпе зимою, закатывает, хлещет бичом сплеча и в каком-то упоении поет во все горло: "Ах! Да западала! Частым ельничком, ох! Все березничком, ох! Да зарастала! Ну! Ну! Ну!" — Заметьте, когда встретится вам в дороге эта отчаянная гоньба и вместе с нею повозка на вольных — разница между ними такая же, какая между толстым откупщиком и отчаянным посетителем питейного дома. Почтовый ямщик награждает свою плохую наружность тем, что во всю прыть мчится мимо дорожного барина — огромной повозки, запряженной тремя огромными лошадьми, с дюжим ямщиком в красной рубахе, с тремя колокольчиками на дуге, с медными бляхами и погремушками на сбруе. Спорым,

но тихим и ровным шагом ступают между тем лошади вольного; из повозки его выставляется борода купеческая, пробужденная мимолетным визгом, и из подушек красноватое лицо глядит: кто это промчался мимо, и уже вдали, в облаках пыли? — Во-вторых, тяжело ездить на вольных нашему брату, не дорожному, домоседу, но легче купцу, который по одной дороге из Москвы в Харьков, Ростов, к Макарью, из Вологды, Курска в Москву едет в сороковой раз, иногда ездит по два, по три раза в год. Ему все знакомо по дороге; его везде знают, принимают, растворяют перед ним ворота; кланяются ему, ведают его имя и имена отца его и дедушки его; перед ним ставят хлеб, соль; все дородные хозяйки и хорошенькие их дочери известны ему по именам; он знает, где надобно поберечься, где остановиться, где побраниться, где подарить, поласкать. Вот он, например, на постоялом дворе в какой-нибудь Лопасне, Ивановке, Липцах, Красной слободе; перед ним на столе кипит огромный самовар, лежит московский калач, расставлены, гжельские чашки, кулек с икрою, балыком, сайкою — ведь постных дней

у нас две трети в году. И краснея и потея, в светлице старого знакомого, ямщика, он располагается господином, пьет, ест, закусывает, шутит, говорит, договаривается, спорит; и он и хозяин называют друг друга приятелями, знакомыми, величают по имени, по отчеству; оба клянутся, что сказывают крайнюю и последнюю цену, указывают на образ Николая чудотворца, ссылаются на худые кормы; хозяин спорит, что обрезные червонцы, какими платит проезжий, совсем не в ходу; тот утверждает, что везде их берут, что других денег теперь в целой Москве нет. И вот они поспорили, уверились, что нашла коса на камень, утвердились во взаимном уважении к ловкости и уму один другого и, наконец, поладили; повозка подкатилась, и купец беспечно залег в свои подушки и перины до нового знакомого, где переменяет он лошадей с прежними обрядами, спорами, уговорами, божбою. Возможно ли вообразить такого ездока, приехавшего на почтовую станцию, где 14-го класса смотритель сухо, без всяких возражений ответит ему: "Нет лошадей!", а смотрительша в чепчике и запачканном длинном

платье, пользуясь задержкою, предложит тощий кофе, пока общипанный почтовый староста, почесывая голову, спорит, что урода, повозку приезжего, с места не стянут три лошади и что на трех седоков велено по указу припрягать четвертую лошадь... Где поэзия самовара, ласковой хозяйки, калачей, сайки, икры? Вы знаете, что на почтовой станции надобно все покупать у смотрителя, а без того...

Но — я чувствую, что к старости становишься болтлив, особенно вспоминая что-нибудь из своей молодости: начал о том, как мне надобно было лет семнадцать или шестнадцать тому ехать из Курска в Острогжск, а заговорил об ямщиках, о почтовых станциях. Впрочем, лишнее слово, только бы не в осуждение ближнего, право, не беда. Люблю широкий, просторный рассказ, где всякой всячине свободно лечь и потянуться. А притом, может быть, не всякому знакомо то, что я рассказывал, и я dokonчу, как пошел рассказ мой, тем, что таким-то образом до сих пор сохраняется у нас на Руси особенное братство ямщиков и проезжих, с своими тайнами, не меньше лож-

ных тайн какой-нибудь Шотландской Звезды. В каждом городе значительном есть особые Ямские, где живут ямщики и где у них свой мир, свои нравы, обычаи, обряды. В Москве таких Ямских слобод несколько: Тверская, Переяславская, Рогожская и проч. Подите туда: это не Москва, это какой-то особенный город; иначе дома построены, иначе люди живут, одеваются, говорят; это такие уголки в Москве, где всего более сохранилось донные русской старины, хотя и там уже дома перестраиваются и старая Русь пропадает вместе с появлением бритья бород, рестораций, французских хлебов, немецкого платья и гильдейского честолюбия. Но отсюда выходят все эти бесчисленные, бесконечные обозы; отсюда выезжают купеческие вольные тройки; здесь теснятся все приезжающие в Москву ямщики и извозчики; здесь можете подрядить тысячу телег хоть до Одессы и до Архангельска; можете нанять извозчика куда угодно — только не далее пределов русского царства и не в царство небесное. Вам дадут тройку жирных огромных лошадей, и если у вас нет своей повозки, то и с огромною ямщицкою повозкою,

укутанною рогожами, с резным задком у кибитки, выложенным разноцветною фольгою, и повезут вас в Питер, Куреск, Смоленеск, Володимер, останавливаясь на своих особенных станциях и минуя почтовые. Ехавши в Курск, вы проедете мимо Подольска и остановитесь в Лопасне; ехавши в Петербург, мимо Черной Грязи, в селе Чашникове — 40 верст от Москвы; здесь ямщик даст вздохнуть своим лошадям и повезет вас до Клина, а от Клина на свежей тройке вас доставят не кормя в Тверь и поставят в условленный час, по договору, в тамошнюю Ямскую, минуя замаранный тверской город Милан, где с тощим животом вы любуетесь на изображения из Шекспировых трагедий и не можете решить: что тут хуже — чай, кофе или обед?

Ямские слободы, сказал я, есть у нас во всех значительных городах; но ямщики некоторых городов особенно славятся своими лошадьми, своим достатком, своею ездою. Таковы ямщики московские, коломенские; ямщики курские также знамениты. Любо посмотреть на их опрятные высокие дома с кровлями почти перпендикулярными, с раскрашен-

ными окнами, с крытыми обширными дворами, где все завалено кибитками, ободьями, рогожами, колодами, дегтярными бочками, телегами и где останавливаются обозы и иногда тесно бывает от возов и лошадей; любо посмотреть и на самих ямщиков, крепких, сильных, здоровых, рыжебородых, под пару их дюжим лошадям, которые могут выехать 80, 100 верст в сутки, которых хозяин бережет и лелеет, как друзей. Странна жизнь ямщика: спокойно сидит он у ворот своего дома в кругу соседей на прилавочке, толкует, дремлет после сытного обеда или отдыхает, проглотивши дюжины две чашек чаю, — приходит человек, и через два часа ямщик уже помолился богу, надел дорожный зипун, простился с родными; и через несколько часов еще он уже катит на тройке своей по Московской, Арзамасской, Воронежской дороге или тихо переступает подле обоза, который отправился в Бердичев, в Адесту, в Липецк, если угодно, или Бериславль, Королевец. Прежде, когда многие курские купцы торговали за границу, Лейпциг, Бреславль, Кенигсберг были знакомы курским ямщикам так же близко и корот-

ко, как их соседка, Коренная ярмарка. Мне случилось видать и возвращение ямщиков домой. Ничего, никто не кричит от радости, от удивления о том, что отец, брат, сын воротился после полугодового отсутствия. Спокойно убирают, поят лошадей, и, сытно пообедавши, прохрапевши часов пять с дороги, ямщик, между прочим только, рассказывает товарищам, сидя вечером у ворот, и то если спросят его: "А што, таго, где ты бывши?" — рассказывает, что он ездил в Одессу, а оттуда наняли его в Николаев; потом довелось в Астрахань; там вышла работа в Эривань, а оттуда он взялся свезти ездока на долгих в Тетюши, из Казани наложил товар до Москвы и потом через Рязань приехал домой. Другие не дивятся нисколько, а через сутки, пожалуй, приезжий ямщик найметя опять хоть в Аршаву (Варшаву).

На долгих. — Знаете ли, что это такое? Это значит, что вас договариваются в положенный срок довести от одного места до другого на одних и тех же лошадях, останавливаясь ночевать и кормить лошадей по дороге. Кому некуда спешить, такая езда, особливо летом,

особливо в обществе добрых товарищей, беспечна и весела. Так, на ярмарки большею частью купцы ездят на долгих, и иногда собирается их по 10-ти, по 20-ти троек. В таком случае останавливаются ночевать и обедать обыкновенно вне селений, где-нибудь под лесом, на берегу реки, и — тут полный досуг русскому духу и дорожному досугу! Все забыто — и барыш и убыток; разводят огонь, накупают припасов, варят, жарят, кипятят самовары; на разостланных коврах, тюфяках, под ташами, разбитыми в виде палаток, идет ужин, обед; затем следует отдых; кто поет, кто спит, кто спорит, говорит, и часто хор стариков:

*Склонитесь, веки,
Все, и со человеки,
К Российской державе,
Ко восточной главе,
Сущей ныне
Во благостыне —*

сливается с хором молодежи:

*Вы метитесь, улицы,
Вы метитесь, широкие;
Становитесь, города,
Города с пригородочками,*

Теремы с притеремочками!

Наступает ночь. Огонь погас, все убрано, снесено в повозки; проезжие крепко спят в повозках, закрытые рогожами и кожами; брезжит восток раннею зарею; ямщики напоили лошадей, впрягли, и с словом: "Господи, благослови!" повозки катятся с спящими седоками до первого места, где снова останавливается поезд кормить лошадей, а седоки обедают, прокачавшись, как в колыбели, 35, 40 верст.

Все это изменяется теперь. Но так бывало еще за 20 лет. Я помню это.

Вот, когда мне в 1817 или 1818 году надо было отправиться в Острогожск, — впрочем, не привести бы мне на память читателям эту поездку того немецкого путешественника, который ездил когда-то на своем веку из Данцига в Штольпе и после того 40 лет рассказывал об этом... Спешить мне было некуда, и я решился ехать на долгих. Притом мне надобно было нанять надежного, доброго ямщика, потому что со мной было много денег, а ехал я один. Отправляюсь в Ямскую слободу. Положение этой слободы и вообще Курска

прелестно. Город стоит на горе, которую обтекает река Тускорь, и с некоторых мест взор обнимает пространство, усеянное деревеньками, селами, перелесками, нивами, верст на 20-ть. Если вы будете в Курске, советую вам пойти на берег Тускори к бывшему Троицкому монастырю и полюбоваться оттуда видом на Стрелецкую слободу, окрестности ее и скат под гору к Тускори. Не менее хорош вид и на Ямскую слободу, которая раздвинулась по луговой стороне реки на Корейской дороге.

Но поспешим рассказом. Мне попался здоровый, плечистый рыжий ямщик, взялся ездить со мною, сколько мне угодно, и на другой день в огромной повозке, прочной, крепкой, набитой свежим сеном, запряженной тройкою лошадей, с парюю колокольчиков на дуге, покатались мы с Васильем — так звали моего ямщика. Помню это красное лицо, эти плечи, эту голову, где между глаз могла поместиться калена стрела. Василий был человек лет 50-ти, веселый, словоохотный, большой мастер петь заунывные песни; он выпивал едва не полштофа зелена вина для аппетита и никогда не бывал пьян; ел он ужасно, не

спрашивал, что ему давали есть, смотрел только на количество, а не на качество, мог пить пиво, хлебать молоко, есть рыбу и кислую капусту, пить чай в одно и то же время. Обед оканчивался у него ковшом воды не менее знаменитого Торова рога скандинавской Эдды. После того он ложился спать под повозку, спал, храпел, как Илья Муромец. Но удивительно: этот же человек не знал усталости в работе, мог не спать сутки, сидя на передке, верно просыпался, когда надобно было поить лошадей, задавать им овса, и за них готов был он сам отказываться от сна, пицци и питья; и не жаловаться и петь песню под голос своего тощего желудка. Смело можно было при нем не бояться разбойника, оставить повозку, уйти вперед, отстать или спать без просыпа. Василий был удивительно бывалый человек; вообразите, что он побывал даже в Париже, подрядившись из Лейпцига в 1814 году везти какие-то казенные снаряды. Он рассказывал... но прочитайте статейные донесения старинных русских послов, например из Италии, о том, как: "Город Флоренск безмерно строен, согражден палатами превысокими, а

столпов превысоких, сажен по 50-ти и больше, во Флоренске шесть. А кирки, или мечети, зело стройны, и иную делают уже лет 20-ть, а еще делать лет 20-ть, все камень аспид, трут пилами. А стоит город меж великими и высокими горами; а длина градскому месту и с уездом верст 13-ть, а то всё горы. А извычай жителей такой: мужи и жены честные и дети, ходят все в скуратах, сиречь в личинах всяких цветов. Да казали нам казенные палаты, палата с сосудами одно — золотыми и с вещами драгими, кресла княжие с камнем драгим и с жемчугом большим, жемчуг иной в орех есть..." Вот на это походили и рассказы Василия о Паризии и Леонтьеве (Париже и Лионе), Нунции и Тавлери (Нанси и Тюльери). Он сказывал за диво, что французские мужики носят башмаки деревянные и называют их суботы. Вообще по-французски говорил он довольно порядочно; сказывал мне, что французы называют хлеб пень, масло быр, воду ох; что самая злая брань, если скажешь французу: Наполеон капут; что по-французски: жонопранпопо значит: "не знаю ничего" (je ne comprends pas). "Хороши земли, — заключал

он, — да все нехристь, бес их знает, какая; и кто погонится за барышом да поедет в ту сторону, в руках у него будет много, а в кармане ничего". Надобно знать, что путешествия бедного Василья за границу кончились встречей на обратном пути с башкирами, которые от нечего взять отняли у него все деньги и обменяли лошадей его на клячи, так что он едва мог доехать до святой Руси, и то в казенном обозе.

Мы выехали с ним из Курска рано утром; погода была прекрасная, начало июля, небо яхонтовое, поля изумрудные, нивы золотые. Дорога шла между селениями, полями, рошицами; народ был рассыпан по полям; все казалось мне таким веселым, счастливым, цветущим, потому что я сам был молод, здоров, весел, как птица небесная, и готов видеть в каждом человеке друга. Печаль скользила у меня тогда по сердцу, как ласточка нижеет мимолетом по земле, а радость выглядывала из-за каждого кусточка и качалась на каждом васильке между хлебными колосьями. Встречи с сельскими помещиками, с их барынями и барышнями, с лихими кирасирами, кварти-

ровавшими тогда в Курской губернии, с купцами, ехавшими с Старо-Оскольской ярмарки, — все это было предметом моего любопытства, наблюдений, забавы, знакомства и проч. и проч.

Надобно сказать однакож, что места, по которым мы проезжали, были в самом деле большею частию удивительно милые. Природа не являлась тут в грозном величии какого-нибудь Кавказа, какой-нибудь Сибири; но зато, как кокетка, наряжалась она в пестрые луга, тенистые рощицы, убиралась живописными селениями, смотрелась в зеркальные речки и змеистые ручейки, расстилалась полосатыми жатвами, загоралась алою, палевою, оранжевою зарею, засыпала под покрывалом ночи, сплошь униженным золотыми звездами. Помню местоположение Стужина, маленького селения, верст 40 от Старого Оскола, — что за прелесть! В длинной лощине, крутоберегой, обросшей кустарником, вьется серебряная речка, и по ней разбросаны хижинки; с обеих сторон дорога в гору, и на этих горах, как шахматы, белеют, желтеют, пестреют бесконечные поля с хлебом. Там ле-

ниво тянется обоз малороссиян на волах; здесь раздаётся песня поселянина; там природа бросила перелесок; здесь человек выставил шпигцеркву и кровлю своего сельского дома. Как нарочно, темная туча всходила вдалеке, и молния дрожала в ней и рисовала свои огненные узоры, когда с другой стороны еще ярко светило солнце между облаками; и эти облака обрисовывали собою вокруг солнца исполинские снеговые горы с позолоченными и раскрашенными вершинами. Но еще лучше положение небольшого городка Старого Оскола, где на горе, смотря на реку и на окрестности при заходящем солнце, я, как умел тогда, долго любовался и мечтал, считая себя поэтом, потому что читал Жуковского, сам кропал плохие стихи и плакал за романами Монтольё и Августа Лафонтена. И в дорогу с собой взял я, помнится, "Мальвину" да что-то делилевское: мне хотелось перевести ее... Какой вздор не взойдет в молодую голову!..

Вечером на третий день мы остановились ночевать верстах в 70-ти за Старым Осколом в деревне Становой, уже в Воронежской гу-

бернии. Это была обширная малороссийская деревня с вымазанными глиною, выбеленными известкою хатами, с малороссийскими нравами и обычаями, и я попал в самое шумное сборище усатой гетманщины. У хозяина, где мы остановились, продавали горелку; был какой-то праздник, и что за разгулье, за пляски, за разговоры! На меня сначала посматривали косо, как на москаля; но вскоре меня полюбила казацкая душа, когда я принялся хвалить ее, разговаривать с нею, потчевать стариков чаем, табаком, сам рассказывать о Хмельницком все, что читал об нем у Голикова и Рубана, а еще более с любопытством слушать рассказы других. Помню, что моя любезность обратила на себя особенное внимание старого казака Никиты Шимченка, с длинными усами, в высокой казацкой шапке, с гордою поступью, с седым чубом на голове. Он пил со мною чай, говорил о старине, о переселении острогожских казаков в эту сторону, заставил даже какого-то скрыпача петь и играть, других плясать.

К удивлению моему, Шимченко был даже большой грамотей, восхищался "Энеидою"

Котляревского и наизусть читал мне из нее множество мест.

Солнце было еще высоко, когда мы приехали; досыта наговорившись и наслушавшись, я отправился с "Моими безделками" в руках насладиться зрелищем заходящего солнца и гулять по деревне; таков был тогда обычай у всякого, кто почитал себя поэтом; ходил, гулял — наконец сел у ворот одной хаты и размышлялся о счастье простой сельской жизни, слыша песни, шум и говор в хате и по улице, видя всюду веселые толпы народа, с гудками и дудками ходившие по улице. Подле меня неожиданно поместился какой-то сосед не малороссиянин, и я обрадовался, увидя земляка на чужой стороне. Это был отставной солдат, седой безногий старик на деревяшке; изношенная ленточка с Георгиевским крестом, добрый, веселый вид его, ласковый привет всех проходивших мимо его, что показывало, как уважала его целая деревня, — все это расположило меня к беседе с добрым инвалидом. Он без памяти рад был, встретя такого ласкового, приветливого земляка, и беспрестанно называл меня ваше благородие.

Я узнал от моего собеседника, что он родом из Курской губернии, из однодворцев, был отдан в военную службу, долго служил потерял ногу в Финляндии, воротился на родину, оставил ее бродил в разных сторонах и наконец поселился в Становой, где исправляет должность волостного писаря, по воскресеньям заменяет должность звонаря и певчего в ближнем селе и решился окончить странническую жизнь свою между здешними обывателями. "Весь хохлацкий народ, ваше благородие, и добрее русского; только не тронь их казацкой хвостовни; да и прост, ваше благородие, хоть по виду и кажется такой смышленный, важный".

Бесконечный разговор завязался, наконец, между нами. Здравый, простой ум, какой-то философско-комический взгляд на все в мире, особливо рассказы о том, где бывал, что видел, что перенес мой инвалид, заняли у нас несколько часов. Уже свечерел, потух день; прекрасная летняя ночь наступила, ночь тихая, месячная, теплая, после дождя, бывшего днем, а мы все еще разговаривали. Он подробно рассказал мне всю свою историю, все свои

похождения. То, увлеченный живостью своего рассказа, вставал он, вытягивался, маршировал, забывая о своей деревяшке; то чертил палкой на песке расположение лагерей, желая дать мне понятие о битвах и сражениях, где бывал; то в унынии умолкал, набивал свою люльку, тянул из нее дым и в разлетающихся облаках дыма, казалось, видел прежние, разлетевшиеся дымом годы своей юности.

Добрый старик! Тебя, верно, нет уже теперь в здешнем мире! Если беседа со мною, тогда юным, беззаботным жителем света, усладила твою душу, зато и твои рассказы сильно врезались в мое сердце. И теперь еще ясно могу я представить себе твои седые волосы, твой кровью купленный крест; слышу еще, кажется, стук твоей деревяшки, твой голос; вижу твои выразительные телодвижения, огонь, сверкавший в глазах твоих, когда ты рассказывал мне о гибельных битвах, и слезу, появлявшуюся в глазах твоих при воспоминании о родных, некогда близких твоему сердцу; грустную улыбку, с какою смотрел

ты на свое состояние, и улыбку радости, с какою говорил ты об успокоении костей своих в недрах матери земли...

Желал бы я передать другим что-нибудь из твоих рассказов; но тронут ли они других так, как трогали меня? Чем заменить твой вид, твой взгляд, твои движения, твое простое красноречие сердца? Прибавляя что-нибудь искусственное, я только обезображу твое добродушное повествование; но могу ли и передать так, как говорил ты; могу ли заменить твои поговорки, прибавки, побасенки, и этот смех сквозь слезы, и эти слезы сквозь смех, что так удивляло меня, еще не понимавшего, как можно плакать и смеяться в одно время! И прежде того видал я, что сквозь дождевые тучи светило солнце и радугой перепоясывало полнеба, отражаясь в дожде, падавшем сквозь лучи солнечные. Я не знал тогда, что это всего более похоже на слезы и улыбку человека.

В ближней роще свистал и щелкал соловей; коростель скрипел в отдалении поля; лягушки дробили голоса в своем болотном концерте; заря потухала на одном краю неба и за-

горалась на другом; иногда глухо раздавался голос кукушки в лесу; люди редели, засыпали. Мой инвалид говорил мне:

— Вы знаете, что у нас в Курской губернии есть много дворян больших помещиков, а еще больше мелких. Есть целые деревни, и большие деревни, где все жители дворяне, и у них, у сотни человек, десять крестьян, и эти крестьяне служат всем поочередно. Наконец, есть еще у нас что-то такое, не дворяне, не крестьяне, а так, сам крестьянин и сам барин, и называется однодворец. Говорят, будто это остатки каких-то прежних дворян, потому что у многих однодворцев есть свои крестьяне. Я называл себя однодворцем, как мы все себя называли, а впрочем, право, мы не ведали, что это такое значит, так как мелкое дворянство, жившее вокруг нас, знало о себе одно, что с них рекрутчины не бывает. Впрочем, эти высевки дворян жили в таких же хатах, как и мы; так же одевались, так же пахали, сеяли, косили, жали, как все мы; ели по-нашему и пили по-нашему. Одна только бывала беда с ними связываться, что, подравшись на

весельи, мы просто мирились на другой день, а дворяне наши непременно подавали просьбу в бесчестьи. Кроме того, все у нас было общее, и согласное, и одинаковое; ссорились и дрались мы на межах одинаково, потому что и наши и дворянские поля были пестрее рябой рожь и перерезаны в такие мелкие ремешки и клинушки, что разобрать их не удалось бы самому домовому дедушке, не только земскому суду. После каждой просьбы между нами начинался, однакож, суд, делался судебный осмотр; оканчивалось тем, что выигравший тяжбу должен был продать свой участок для оплаты расходов по суду; на продаже напивался весь мир крещеный, подымалась на весельи новая ссора, за ней драка, и — дело оканчивалось новою тяжбою.

Так жили мы, и дворяне и однодворцы, под одним небом божьим, жили изо дня в день, и весело, не думая о завтрашнем дне; и житье наше так нам всем нравилось, что поверите ли — многие из наших дворян, прослужив много лет в военной службе, возвращались поручиками, даже капитанами на родину, надевали старые свои зипуны и принима-

лись снова за плуг и соху. Вот было житье: подыми, встряхни, перевероти и вывороти — ничего не выпадет, ни из души, ни из головы, ни из кармана, кроме гроша на вино да краюшки хлеба на сегодняшней день! И чего ж вам больше? Был ли у нас в оный год неурожай, есть нечего — мы занимали у других; отдавали, когда потом хлеб родился, а ведь у бога не положено, чтобы неурожай был всякий год? Итак, барыш и убыток, веселье и горе, сытое брюхо и голодное ездили у нас на одних санях. Ну что же, если не было у нас ничего в запасе, ни лишнего хлеба, ни лишней коровы, ни лишнего гроша, — да на что запас? Мы думали так: "Коли бог создал какого человека, так, верно, в то же время испек для него и краюшку хлеба, которою ему надобно пропитаться в мире; и заботься ли, не заботься ли этот человек, а той краюшке от него не отбежаться ни на краю мира". Приходило горе — на утеху было у нас то, о чем давно сказано, что оно веселит сердце человека; приходила радость — всякий просто радовался изо всех сил. А впрочем, ведь и в городах и везде кто плачет, кто скачет; один родится, другой

умирает; кто рождается, кричит; кто умер, тот молчит. Валилась ли избушка, хозяин подпи-
рал ее жердинкой, говоря: "С меня станет; с
мой век простоит, а там, как сам свалюсь и
она развалится, так строй новую, кто захо-
чет". У кого не оставалось ни кола, ни двора,
ни поля, ни избы, тот нанимался у других, а
стар становился, к работе негоден — ну, про-
сил милостыни и был уверен, что сыт будет,
потому что ни из одной хаты не говорили у
нас: "Бог подаст", а подавали, кто что смог. Ко-
гда нам нечего было делать, мы ничего не де-
лали либо спали, а в праздники ходили мы
хороводами по деревне, и проезжий ка-
кой-нибудь богач, раздумавшись в своей ка-
рете, как, поди, завидовал нашему счастью и
веселью, слушая наши веселые песни!

Нас было в семье двое. Старший брат Васи-
лий да я, Сидор, покорный слуга вашего бла-
городия. Василий был старше меня десятью
годами, сын от первой жены. Старику отцу
вздумалось жениться на старости, когда пер-
вая жена его умерла; от другой жены родился
я. Мне и трех лет не было, когда сам старик
переселился на божью ниву. Василий с моей

матерью стали хозяйничать, — плохое хозяйство, правда, у старой бабы да у молодого парня — ну, что делать! Зато Василья женили рано, и жена его, здоровая баба, работала за трех. Зато с ней была такая беда, что рожала она за трех: в несколько лет у Василья было полдюжины ребят, а им каждый обед надобно было полдюжины ломтей хлеба.

Пока все это так и сяк делалось, я рос своим чередом, и о моем ребячестве много сказать вам не приходится. Сколько запомню, так сперва лежал я в лубяном коробе, повешенном на палку подле печи, и кричал почти целый день, потому что меня некому было унимать, да и некогда. Потом ползал я по грязной избе и, взбираясь на лавку, падал, ушибался, плакал; тут высаживали меня на улицу, где, взбираясь на завалину, опять падал я, ушибался и плакал. Иногда подходили ко мне корова, коза, теленок, и, боясь их, я кричал из всех сил, так что слышно было на другом конце деревни. Соседи сидели подле своих хат или шли мимо, да я хоть раскричусь — никому дела до меня не было. Единственным защитником моим была старая

хромоногая собака Жучка, с которой делились мы иногда куском хлеба, вместе лежали на солнышке и вместе защищались от коров, телят, козлов, коз и свиней, а в награду я бил Жучку и любовался, как она визжит и ласкается ко мне.

Как уцелел я, как не упал в колодец, который был вырыт подле нашего дома, сруб незакрытый, вровень с землею, как не выклевал мне глаза гусь какой-нибудь или не забодала меня корова, как не сторел я подле печки и как не раздавили меня возом, когда я выползал на средину улицы и сидел в грязи или играл пылью и пугал мимоходящих куриц и петухов — право не знаю. Но, видно, сам бог хранит крестьянского сына, потому что мы все так росли, как рос я; и потом видал я, что везде наша братья, крестьяне, растут таким образом и вырастают.

Я поднялся на ноги, начал ходить, просить не ревом, но словами, и тут уж мне стало жить и лучше и легче.

Надобно знать вашему благородию, что во всей деревне нашей считалось дворов с двадцать пять. Все эти дворы были вытянуты под

одну кривую линию в два ряда, так что составляли собою улицу, которая, как пьяное капральство, повихиваясь на обе стороны, шла по косогору в лог, где текла маленькая речушка, глинистая, тинистая, почти пересыхавшая летом; но весною она разливалась и затопляла весь лог, так что до самой осени грязь не пересыхала у нас, особливо у гати, обсаженной ивами, где беспрестанно вязли лошади проезжающих и где проезжающие ругали нашу деревню на чем свет стоит. Все дома у нас были черные избы, закоптелые от дыма, покрытые соломою, которую стаскивали мы с крыш в голодный год для корма скотины, а потом подновляли на зиму, если было чем подновить. У редкого двора была огорожа или крытый сарай кругом двора; почти каждый дом был четырехугольный сруб с маленькими двумя окнами на улицу, с пестрыми вокруг них рамками и с пузырем или с обломками стекла, так запачканных, что ночь начиналась в избах наших двумя часами ранее, а оканчивалась двумя часами позже настоящей божьей ночи. К такому срубам приплетались сени, где летом спали мы и держали ско-

тину, где висели у нас веники для бани, стояли кадки, кадушки, лежали дрова — тоненький хворост, который рубили мы в небольшой роще недалеко от нашей деревни. Затем с другой стороны ворот торчала мазаная плетушка для скотины; далее, сзади, был небольшой навес из тычинок, покрытый соломой, для лошадей; затем далее назад пятились овин и гумно, низенькие мазанки с соломенной крышею; и все это окружено было поскотиной из палок, и те часто сжигали мы, потому что в дровах терпели большую нужду; соломы едва доставало у нас скотине; гречневую шелуху мы съедали сами, подмешивая с лебедой да с мякиной и посыпая мукой, а другого топлива мы не знали, потому что ничего не слыхали мы об этом от своих стариков. На дворах мы не только не чистили, а еще старались умножить грязь и навоз, потому что этим только и успевали мы вырастить что-нибудь на полях, куда весной свозили все, что накоплялось во дворах наших за целый год.

Во всей деревне только у двоих было по три лошади да по три коровы; у многих других по две, по одной, и, наконец, у остальных

ных — ничего не было, кроме рук да ног. Такие обыкновенно отдавали свои участки другим либо обрабатывали их помочью, то есть ставили вина, поили всех, заставляли пахать, жать, косить, а потом платили половиною сборки хлеба целовальнику за ссуду вином на целый год. Поля наши были все чересполосные; работать на них уходили мы за две, за три версты, но меняться участками не думали, хоть у иного чужой участок был подле двора, а свой через болото, за рекой, подле дальнего леса. Покос был у нас особенно богатый: поемный луг с осокою, половину которой скашивали соседи, за что каждую осень дрались мы с ними и заводили тяжбы. Право не знаю, как еще мы умели платить подати, особенно когда приходилось в иное время лето проработать за поправкою дорог и мостиков по дорогам. У нас, впрочем, почиталось это за отдых. Мы уходили на дороги целыми семьями, вырывали себе землянки, спали в них без просыпа, а между делом заваливали кое-где ямы землицею, вместо переделки мостиков обтесывали на них бревешки, и, заплатив положенное исправнику, получали

мы позволение воротиться домой, не думая о том, что с первым обозом и первым дождем вся наша поправка как не бывала, а дома сидит у дверей голод и зубами пощелкивает.

Ремесла у нас не было никакого; да и что стали бы мы делать? У нас не было даже липки, с которой можно б было содрать лычко да сплести лапоть. Бабы и девки ткали холстину на рубахи, сукно на зипуны отцам и мужьям и на понявы себе, а дети ходили в обносках отцовских и материнских.

Как теперь вижу свою благословенную родину, хоть и давно оставил ее: на голой степи по косогору несколько избушек, обципаных, как после пожара; кругом ни леска, ни перелеска, а только поля с плохим хлебом; подле реки несколько землянок, где мылись мы грязною водою; глинистая гать с ветлами; грязь по колени по улице, а зимою все занесено снегом, который едва отчищен у входа каждой избушки и привален грудами к стенам ее: без этого мы замерзли бы от холода, и случилось, что в бесснежные холодные зимы только на печи было и спасенье. В стороне торчала у нас ветряная мельница, как будто

подсмеиваясь, что у нас ей нечего молоть, а с другой стороны бродило около деревни несколько десятков коров, коз, баранов и свиней, тощих, как мышь в приказной избе, где кроме бумаги и приказным закусить нечем. Въезжайте в деревню — не говорю зимой, когда все спряталось в конурки под снег, или в рабочую пору, когда по всем избам могли прогуливать воров, не опасаясь, чтобы им сыскалось что-нибудь унести, хоть хозяев и хозяек никого нет дома, кроме полудюжины дряхлых стариков и старух — этот запоздалый на свете народ домовничал и грелся на солнышке, потому что кровь его уже не грела, а двигаться силы у него не было. Но и в такую пору, когда все жители бывали в деревне, вы встретили бы по улице только баб и девок, в рубашках и понявах, босых, замаранных; сидя у ворот, они пряли или бродили по грязи, крича и загоняя коров и свиней; мужики у нас подле ворот своих сиживали мало: они все собирались обыкновенно у питейного дома, который всегда был чисто-начисто обметен от снега, обставлен лавочками и украшен елками. Там собирались мы ссориться, мириться,

судить об общественных делах, пока мальчишки в отцовских старых шапках, в каких-нибудь обрезках отцовских тулупов и зипунов бегали, дрались и кричали по улице; вечером весь этот народ засыпал, кто где успел лечь или свалиться, а поутру просыпался всякий там, кто где с вечера лег, и вел снова день до вечера, а за одним днем другой день, а за другим третий и так далее. Но поверите ли? Плохо было наше житье — нечего сказать, — а так много у человека есть способности веселиться его жизнью, что весь этот народ веселился, смеялся, боялся смерти и не хотел умирать, словно богач какой-нибудь, у которого в Петербурге либо в Москве большой дом на большой улице! Да и состоянием своим были мы недовольны, думаете вы? Да, как не так! Попытайся-ка кто-нибудь уговорить нас переселиться в другое место, где будет много хлеба и денег, да житье иное, — ну! На такого злодея мы готовы были просьбу подать не только земскому суду, но самому соседке под печкой! Попытайся-ка кто-нибудь и не на это, а на то только, чтобы уговорить нас жить не по-старому, — и места бы не на-

шел этакий советник, что со мной самим случилось впоследствии. Уговорить моих земляков перестроить дома получше, жить почище, ходить поопрятнее и вместо питейного дома чаще заглядывать в церковь божию или поучить чему-нибудь детей своих — страху господню, началу премудрости, например, — за это расплатился бы дорого тот, кто стал бы об этих невидальщинах говорить!

Надобно сказать, однакож, к похвале моих земляков, что в числе старинных преданий, которым они верили и которых нарушать не смели, были такие предания, каких дай бог всякому и каких, бродя после того по свету, иногда не встречал я и в больших городах. Несмотря на то, что нередко половине деревни приходилось складывать зубы на полку и забывать о старинной привычке обедать каждый день непременно; что нередко приходилось снимать крышу с домов для скотины, а самим есть, что кому бог на сердце положит, — пешеход в глухую полночь мог пройти с кульком золота по нашей деревне, и никто не тронул бы его. Мы не считали за грех драться за межу, пропивать свою последнюю

копейку либо просить милостыни, а никто из нас никогда не вздумал бы воспользоваться добром своего ближнего. Мы не ведали ни одной заповеди по катехизису, но по преданию знали мы, что не добром нажитое впрок нейдет; что за душу христианскую тяжел ответ богу. "Ребята, дело нечисто!" — говорил какой-нибудь старик на мирской сходке, и — дело осуждали общим голосом.

Такова была моя родина, так жили, так мы были, а чтобы лучше растолковать вашему благородию все дело, так расскажу я вам мое собственное в крестьянстве житье-бытье.

Когда начал я ходить, и бегать, и говорить, зимой, примером сказать, день начинался у меня обыкновенно тем, что просыпался я рано, когда еще до света, с лучиной в светце, мать моя принималась топить печку. Мне было холодно, лежа на печи, простывшей во время ночи, и еще мне страх как хотелось есть; я начинал хныкать и просить хлеба и, наконец, сползал с печи, потому что дым, растилаясь облаком, мог задушить меня на печи. Матери и брату не было никакой обо мне надобности: он занимался своим хозяйством,

а она топила печь, начинала варить и на мои слезы и жалобы отвечала только: "Молчи, чертенок!" Наконец я до того каждый раз надоедал всем, что мне давали несколько толчков и кусок хлеба, завертывали меня в старую шубу и садили меня в угол на лавке. Тут я засыпал и просыпался, когда уже дыму в избе не было, становилось тепло и на столе стояли пустые, но горячие щи. Мы усердно принимались за них, и наевшись, забывал я горе, шумел, дрался с Жучкой и с кошкой, опять надоедал всем так, что мне давали оплеуху, напяливали на меня обрезок отцовской шубы, отцовские старые сапоги, старую его шапку и выгоняли меня из избы вон. Я шел на улицу, где уже толпа мальчишек дралась, бегала, шумела, кидалась снежками, мерзла, плакала, согревалась, опять мерзла, и я возвращался только вечером, совсем окоченелый, отогреваться, дремать и просить есть. Опять принимались мы за пустые щи, и меня закидывали вместо полена на печку, где спал я, пока на другой день не начинали вставать, ходить, топить печь и дым не сгонял меня с печи. Летом перемены в моем житье бывало немного.

Только просыпался я не от дыма; и без шубы, в одной рубашке и босой прямо уходил на улицу, откуда только голод гнал меня домой.

Но знаете ли, ваше благородие, что при такой жизни кто из нас не умирал, тот был здоров и крепок, как из железа скован; лет трех, четырех уже начал я помогать в работе, водил лошадь на водопой, сидел на возу и правил, когда возили весной навоз на пашню, таскал дрова в избу и вскоре заменял мать и брата во многом, возился с детьми, бесился с ними, ушибал их, заводя в шалости. Признаться сказать, когда я подрос, то никто в деревне не сравнивался со мной в работе, в ухаживаньи за молодыми девками, да никто не равнялся и в проказах. Сталкивать в грязь пьяных стариков, подбивать глаза старшему себя, пугать баб из-за угла, лихо плясать с девками и бурлацкую песнь петь — все это было Сидоркино дело. Только одного не любил я — зеленого вина, и за то целовальник первый не взлюбил меня. Второй не взлюбил меня староста, по особливым причинам.

Не знаю как, вздумалось мне, будто можно жить не так, как все мы, грешные, жили. На-

смотрелся ли я на других людей, ездивши в Корочу на базары и проезжая по большим деревням, только денег своих в питейный дом я не носил; и когда не был в хороводах или в поле на какой-нибудь работе, то работал дома, плел тын вокруг двора, ладил телегу, снаряжал соху. Старики только покачивали головою, говоря: "Да что он? Умнее всех, что ли, хочет быть?" А молодые товарищи особенно не влюбились меня за то, что у них ничего не было, а у меня начали появляться то новая шляпа, то новая рубаха, то красный кушак.

Все еще беда-то была бы не велика, что староста, целовальник и товарищи меня не жаловали: у красных девушек был я в особенной милости, больше всех других, прочих; с двумя крепкими кулаками не боялся я никого; а когда староста высылал меня лишний раз на дорогу либо чаще других наряжал в подводу — я молчал, потому что плеть обуха не перестегает. Навязалось на меня совсем другое горе.

В ближней деревне жила одна красотка, дочь тамошнего крестьянина. Ну, ваше благородие, дело прошлое, а право, что за красотка такая была эта Дуняша — кровь с молоком и

такая же работница, как и дородница! Отец ее был мужик довольно зажиточный, и хоть дочерей был у него почти целый десяток, однакож за каждую давал он по корове да по 50-ти рублей денег, хоть сам жил не лучше нашего и ходил в зипуне хуже моего.

Проклятое это дело — сердечная зазноба! Хоть мы и не умели любить так, как любят бары да горожане, но сказать вам правду, будто взбеленился я, узнавши Дуняшу. Пропала охота работать, не пилося, не елось, все хотелось быть с ней, глядеть на нее, шутить, говорить с нею. Дивился я тут двум вещам: тому, изволите видеть, что и прежде я видал ее, да ничего особенного не чуял на сердце. Но один раз как-то песню, что ли, она запела: "Не белы-то снега" — тьфу, пропасть! Так вот и кольнуло меня в самое сердце, и повесил я нос, и с тех пор, словно напущенное, стала она мерещиться мне и во сне и наяву. А вторая-то вещь, ваше благородие, что с тех пор, как она мне приглянулась, стал я перед ней дурак дураком — ни песни спеть, ни слова вымолвить! Со всеми другими, бывало, откуда бодрость берется, поешь, пляшешь, целуешься,

будто век жил, — а с ней... куда тебе! И взглянуть не смеешь... Ребята наши стали замечать, что я отчего-то, бог весть, грущу; стали говорить, что я то и дело хожу в соседнюю деревню и забываю даже коней напоить — сижу, уткнувши глаза в землю, будто мокрая курица, так что в эту пору баба могла меня обидеть, а я слова не сказал бы ей. После узнал я, что и с Дуняшею сделалось то же самое, такая же невзгода, и подруги стали сперва шептать, потом говорить, а потом уж и кричать во все горло, что девка наша кого-нибудь полюбила. Эти слухи дошли до отца ее, мужика сердитого и строгого.

— Дунька! — сказал он своей дочери, — что ты затеяла такое? Знаешь ли ты, что у тебя уж есть жених?

Жених этот был сын старосты нашей деревни — нечего молвить, лихой малый, зато и первый буян и первый пьяница из всей деревни. Только меня и боялся этот сорванец, даром что у отца его была хата лучше других, а у меня, кроме удали, в кармане хоть выспись, а хата держалась на курьих ножках, и в той жили мы вместе с братом. Дуняша испу-

галась отцовских речей; руки у нее опустились; она не посмела сказать ни одного слова напротив, а только заплакала.

— Плакать-то я не мешаю — слезы вода, особенно женские, — продолжал старик, — а если затеешь что-нибудь непутное — береги спину!

Легко приказывать, да подумали бы: легко ли исполнять, — вот в чем дело зависит. На другой день в Дуняшиной деревне был праздник; мы все собрались туда; начали хороводы, запели песни: есть ли, нет ли хлеб, а пиво вари и гостей зови — этаким был у нас общий обычай, просим не погневаться! Дуняша вышла в хоровод такая грустная, такая печальная и веселилась будто поневоле, и вот вижу я, что Дуняши нет; без нее мне белый свет не взмилится! Бегу и ищу ее и нахожу, что она сидит на берегу пруда под тыном, смотрит на воду и плачет навзрыд. Меня самого такое горе взяло, как будто каждая слезинка ее кипятком капала прямо на мое сердце.

— Дуняша! — сказал я. Она испугалась, а у меня откуда слова взялись; подошел я к ней, присел подле нее, хоть она и отодвигалась от

меня. — Что ты смотришь на пруд, глаз не спускаешь? Или у тебя что-нибудь недоброе на уме?

— Доброе ли, недоброе ли, тебе что за дело? Хочу благословиться да в пруд кинуться.

— Что ты, Дуняша, отчего?

— Да оттого, что жить не хочется.

— Да отчего тебе жить не хочется?

— А тебе на что?

— А на то, что бросимся вместе, — и мне житье надоело.

— А отчего тебе житье надоело?

— Да оттого, что я люблю тебя, Дуняша, а отец твой тебя за меня едва ли выдаст.

Она заплакала, и вот пошли у нас разговоры, и вот я узнал, что Дуняша любит меня так, как я сам люблю ее, — ну, то есть, очень шибко любит. Слово за слово, у меня сердце хотело из-под ребер выпрыгнуть от радости.

— Чем сдуру топиться нам с тобой, так лучше попробуем сперва: авось твой отец над нами смилосердится. — И начал я ей говорить так, что она и грусть забыла. Лукавый соблазнил меня — крепко обнял я Дуняшу и поцеловал раз, два, три.

Извините, ваше благородие: много этому лет прошло, а все помнится; и кажется, будто радостнее этого времени для меня во всю жизнь мою не было.

Мы и забыли с Дуняшей, что кроме нас еще есть люди на белом свете, да еще и злые люди.

— Не плачь же и не кручинься, Дуняша, — говорил я ей. — Завтра же пришло я к тебе сватов. Брат и мать у меня противиться не станут; мы с тобой у них не даром хлеб станем есть. Ну! И у отца твоего дети все девки, сыновей нет; захочет он меня к себе в дом принять, так лучше меня, конечно, не найдет работника. Да я в кабалу к нему пойду хоть на десять лет!

В это время громкий смех раздался за нами — гляжу: из-за тына смотрит старостин сын и с ним еще человек пять таких же сорванцов... Дуняша ахнула и чуть в воду не свалилась со страха. Меня словно жаром обдало, да так и взорвало. Будто сумасшедший бросился я на моего злодея; он ударился бежать; я догнал его.

— Слушай, — говорил я, схватив его за во-

рот, — если ты скажешь хоть кому-нибудь о том, что ты видел, так не быть тебе живому!

— Убьешь, так в Сибирь пойдешь, а пока жив, всем рассказывать стану, — кричал он.

Я отвесил ему оплеуху; он мне отвечал тем же; началась драка, товарищи его закричали, сбежался народ. Едва разняли нас, и проклятый пьяница все высказал. Отец Дуняшин всплеснул руками, народ захохотал, и напрасно говорил я старику и приводил бога во свидетели, что Дуняша чиста, как голубь небесный, что я только поцеловал ее.

— Целовать без людей, под тыном — да чорт вас тут разберет! — кричал старик, — иное дело целоваться при добрых людях, в хороваде, а коли девка за углом шепчется с молодым парнем, так в это время ее ангел хранитель плачет и улетает от нее!

Староста наш вступился за побои своего сына; но увидев, что отец Дуняши отправился домой, я бросил старосту, убежал из толпы и успел прибежать к отцу Дуняши, когда он только что вошел в свою избу. Дуняша сидела в углу и плакала.

— Стой, Панфил Артемьич, — вскричал

я, — слушай: если ты тронешь дочь свою хоть синим волосом, так вот тебе бог порукой, что я волоска в бороде твоей не оставлю!

Старик остановился; я упал перед ним на колени и начал говорить, как я люблю Дуняшу, как она меня любит, начал просить его благословения на свадьбу.

— Тебе жениться на моей дочери, голь отпетая, тебе?

— Что хочешь, Панфил Артемьич: возьми меня в работники, закабали меня, не давай приданого!

— Слушай, Сидор, — сказал старик, — вот я тебе образ со стены сниму, что моей дочери за тобой не бывать уж и по тому одному, как ты меня избидел.

Тут Дуняша вскочила, бросилась в ноги отцу и сказала:

— Если ты меня, батюшка, за него не выдашь — руки сама на себя наложу, а за другого не пойду!

— Смеешь ты мне говорить, — вскричал отец, — да я убью тебя!

— Прежде меня убей! — вскричал я.

Вдруг старик остановился, схватил дочь за

руку, толкнул ее ко мне и вскричал:

— Так на — вот тебе ее, коли хочешь — жегнитесь, где хотите, живите, как хотите, — только с этого часа нет на вас моего родительского благословения; будьте вы прокляты отныне и до века; пусть у вас дети будут проклятые; не сойди ни дождь, ни роса на ваше поле, ни божье благословение в вашу семью!

Мать Дуняши вступилась было за нее; но старик чуть не зашиб ее кочергой; напрасно мы плакали, стояли на коленях, клялись в своей честности и добродетели.

— Вон отсюда, проклятая! — кричал старик и ничего не слушал.

— Что же, Дуняша! — сказал я, — отцовское проклятье не подтверждает господь, если оно несправедливо. Пойдем!

Она была как помешанная; я взял ее под руку и повел в свою деревню. Дуняша не противилась, только рыдала. Мы пробрались тихонько по загородам, удаляясь от народа, который с песнями и смехом возвращался в нашу деревню. Но горе забежало вперед нас и ждало нас на родительском пороге. Мать моя знала уже обо всем, не согласилась принять

дочь, проклятую отцом, разругала ее и меня, затворила дверь и сказала, что если я не оставлю Дуняши, так не будет мне места ни в отцовской хате, ни в материнском сердце.

Что станешь делать! Сели мы на улице; я молчу, Дуняша плачет.

— Не благословляют люди, благословит бог! — сказал я наконец. — Дуняша! Ты одно теперь у меня на свете, а я одно у тебя, — пойдем!

Дуняша повиновалась, прижимаясь ко мне, как испуганная птичка. Я вспомнил, что у меня есть старый дядя в деревне за пять верст, и решился идти к нему. Дядя этот слыл между всеми крестьянами человеком гулливым, но добрым и богатым, любил меня и помогал нам кое-чем. К нему явился я теперь с своею бедною невестою, повалился в ноги, рассказал все дело. Старик и сам женился в молодости тайком; увез свою невесту у богатого мужика. Ведь это между крестьянством часто бывает. Что же ты будешь с богатыми мужиками делать: не отдают дочерей добром! Дядя прослезился, смотря на нас, и сказал же-

не своей:

— Старуха! Ведь детей-то у нас нет? Прием-ка мы сирот, оставленных людьми! — И он принял меня и Дуняшу, сыграл свадьбу, и мы поселились у него.

Как отца, стал я почитать дядю, как мать, стала почитать Дуняша тетку; покоя не знала я, работая в поле и в доме. Что же? Казалось, старика бог благословлял за его милосердие. У кого поле выбивало градом — у него зеленело и желтело оно под богатою жатвою — смотреть любо. Под рукою Дуняши масло и молоко прибывало, как у сарептской вдовицы, у которой Илья пророк жил, а копейка раздувалась в грош сама собою и кликала к себе гривну. Старик не мог налюбоваться нами; старуха у него была превздорная кропотунья, но мы все терпели. Да как и не терпеть? Ведь мы любили, а с любовью и горе лучше нелюбовной радости...

Но — велико дело благословение отцовское, ваше благородие, и горе тому человеку, которого не благословит отец либо мать! Вот судья, праведно или неправедно кто проклинает детей своих, а всякое проклятие тяжко

лежит на совести сына и дочери! Несмотря на привольную жизнь, ласку дяди, на то, что добрые люди вступались за нас и общий голос обвинял и мать мою и тестя за их немилость, — жизнь Дуняши была тяжкая. Иную ночь всю напролет не спала она, бедная, и, засыпая, твердила: "Прости, прости меня, родной батюшка!" Иной день плакала без всякой причины, говоря, что ей ни пить, ни есть не хочется и что сердце ее словно змея сосет. Я сокрушался, глядя на нее, хоть она еще дороже была для меня за свое горе. Ведь она от меня, за любовь мою страдала. Прошел год, прошел другой, бог не благословлял нас детьми. И это казалось нам наказанием Божиим. Надобно вам сказать, что в это время мать моя со мной помирилась. Брат Василий, оставшись без меня один, смотался на работе, но ничто не шло у него впрок; крепко начал он держаться чарки; что день, то хуже становилось его и материно житье, И вот однажды мать сама пришла ко мне, поплакала со мной, простила меня и стала звать к себе, чтобы на старости лет не покинуть ее. Дядя слышать не хотел; подарил ей пять рублей,

обещал помогать брату, но меня не отпускал. Ослушаться его мне было нельзя, но все мне казалось, будто я неправ против матери и брата, оставляя их на невзгоды одних. Истинно, иногда дума такая, бывало, найдет, что ничему не рад! Мне казалось иногда, что и люди поглядывают на меня и на Дуняшу, переговаривают, подсмеиваются, шепчутся, осуждают нас. Нечистая совесть плохое дело... Дуняша сохла, худела... Напрасно налагал я на себя обеты, подавал милостыню, призывал знахарей — ничто не пособляло. Но бог обрадовал нас великою радостью. Дуняша сделалась беременна, родила. Вы еще молоды, ваше благородие, не женаты и не знаете, как весело и как вместе тяжело отцовскому сердцу, слыша первый крик своего ребенка. Все мы без памяти веселились. Мне так и мерещилось, что с этого часа все мои беды кончились. Только Дуняша плакала и горевала. "Ох! — говорила она, — не на радость родился ты, бедный! Чует ретивое, что на тебя обрушится дедушкино проклятие!" Я утешал, уговаривал ее. Но дядя приготовил ей утешение лучше моего. В тот день, как были у нас кре-

стины и все пировали у нас, даже сам батюшка священник изволил пожаловать, дядя вводит в избу... Кого бы вы думали? — Отца Дуняши...

Позвольте, ваше благородие, утереть слезку-дуру; выкатилась из сердечного, левого глаза и не спросилась у меня...

— Зачем ты привез меня сюда? — говорил старик; но я и Дуняша были уже у ног его, а дядя подавал ему внука. Старик задрожал, бросился на лавку. Отец священник вступился за нас; все окружили его. Он ревел навзрыд, как старая баба. — Ох, Дунька, Дунька! — говорил он, — много ты горя навела на меня, много седины высушила на голове моей, много родной крови испортила! Не знал я прежде, как сильно я люблю тебя, и что если и сниму я отцовское проклятие, будешь ли ты от этого счастлива? Чем заплатишь ты богу за мои слезы? Ну, да бог вас простит, а я прощаю!

Великая радость была после того. Да только знает ли человек, что будет с ним на дру-

гой день! Все мы расстались здоровы, веселы, а наавтра добрый дядя мой уже не проснулся. Жил как христианин, умер как праведник; рука — видно хотел перекреститься — так и замерла у него на лбу с сложенным крестом... С ним умерло и счастье мое...

Старуха тетка сделалась хозяйкою и на старости лет, — седина в голову, а бес в ребро, — не прошло полугода, сосваталась на молодом парне, бобыле безродном, вышла за него, и нам житья не стало от нового хозяина. Между тем мать и брат звали нас к себе, и в один день услышали мы от тетки приказ — опростать место, помолились и поехали на мою родину. Худо пошло тут дело. У матери и брата Василья не было ни хлебца пылинки, ни живой животинки; изба как решето, хоть сей — да сеять-то было нечего! Сначала нас ласкали, думая, что мы успели поживиться у дяди, а как увидели, что мы ни с чем приехали, так все и опрокинулось на Дуняшу! И без того ей, бедняжке, нелегко было привыкать ко нраву свекрови — тяжеленок был — не тем помянуть покойницу...

Ну, ваше благородие, прошло тут времени

немного, не успел еще я и одуматься, как беде да горю пособить, затевал то и се, думал так и сяк... вдруг сделался нездоров наш мальчишка. Какой славный был, здоровяк, красивый... Начала ходить по деревне оспа и пристала к нашему Федюше — так его звали. Этого мало: у Дуняши самой не было еще оспы; и к ней пристала окаянная. Три дня сидел я в сенях, в отгородке, подле жены и подле сынишки, а на четвертый день — где был мой здоровый красивый Федя! Оспа искривила, изуродовала его, и бог взял его к себе, чтобы не оставался он калекой на сем свете и не указывали бы на него злые люди, приговаривая: "Видишь, каково отцовское-то проклятие!"

Тяжко было мне сколачивать гроб моему дитятке и на своих руках нести его в могилку. Закопал я его в общую нашу мать, сыру землю, горько поплакал, утер слезы и воротился. Зачем? Затем, чтобы видеть, как умирает Дуняша! На нее страшно было поглядеть; она была без памяти. В ту пору ехал через нашу деревню уездный лекарь. Выбежал я к нему, просил, молил посмотреть жену мою; он пришел, взглянул, махнул рукой и сказал:

— Э! Пиши пропало! Не вставать ей!

— Да уж хоть бы скорее бог прибрал — уши простонала, — примолвила мать моя.

Я пошел из избы точно ошалелый, и в первый раз пришло мне тогда в голову: "Пойду, напьюсь пьян, авось забуду горе!" Подле питейного дома нашел я большую толпу, и волостного старосту, и заседателя. Шумят, кричат. Я не вслушивался в их речи, велел дать себе полштофа сивухи, сел в стороне, начал пить — и хмель-то не берет! Погода стояла пасмурная, сырая. Я глядел на небо, и мне казалось, что и господь милосердый на меня гневается, посылая мрачное небо в день моего несчастья...

Тут начал я вслушиваться в спор и крик мирской сходки и услышал, что речь идет о рекрутской очереди с нашей деревни.

— Оканчивай скорее, разбойники! — кричал заседатель, стуча об стол, поставленный подле питейного дома. — Не то перекую полдюжины, половине деревни обрею бороды, всех повезу в город!

Брат Василий кричал пуще других, потому что на нашу семью выпадал рекрут, как по-

нял я из всей этой сумятицы.

Надобно знать вашему благородию, что в то время рекрутская раскладка была темнее дремучего леса. Теперь совсем не то, а ведь это было давно. И сами подьячие не умели тогда хорошенько разбирать, потому что считали по пальцам да по биркам. Василий спорил, что староста налагает на нас; кончилось тем, чем оканчивались у нас все споры, — дракою. За Василья принялось много рук. В это время сидел я и думал: "Да не божий ли голос слышишь ты, Сидор? Ведь уж твоей жизни краше этого не бывать, какова она теперь? Дуняше не вставать с смертного одра, а без нее что ты будешь? И где надежда, чтобы вам поправиться как-нибудь? Замени своей головой доброго человека — послужи матушке государыне", — тогда еще царствовала ее императорское величество государыня императрица Екатерина Алексеевна. — Если и неправо наклепывают на нас очередь — не сегодня, так завтра: ты избавишь от солдатства брата и племянников. А останешься ты в деревне — видимое дело, что сопьешься ты с круга и будешь позором целого мира..."

— Стой! — вскричал я, бросаясь в толпу и расталкивая мужиков, — стой! Бери меня, если целый мир говорит, что с нас очередь рекрутская!

Заседатель выпучил глаза, а мужики в один голос закричали:

— Вестимо, что за вами очередь — вот тебе бог порукой! Иди, Сидорка, коли некого нанять!

У Василья брызнули слезы из глаз; он обнял меня и завопил:

— Ох! Очередь-то за нами; да ведь я для того спорил, чтобы ты успел убежать да спрятаться, — а ты сам в руки отдаешься!

— Если мир православный не лжет, — промолвил я, — так прятаться нечего; видно, так богу угодно!

— Да с кем же я-то останусь: один я какой работник; мачеха стара, жена пьяница, дети малы — не растут, бесенята!

— Работник был бы я и без того плохой, — отвечал я, — прощай, брат! Похорони только Дуняшу мою, когда приберет ее бог, а обо мне не заботься!

— Ну, полно растабарывать! Тот, что ли,

это мужик? Отвечай, да куй его! — вскричал заседатель.

— Не надобно, не убегу, — сказал я.

— Да, не убежишь! Знаем мы вашу братью, охотников! Теперь-то с пьяных глаз ты ладно говоришь, а как протрясет тебя дорогой, так и будешь, словно коза, вытараща глаза, в лес смотреть!

— Я не пьян.

— Да коли есть уж такая поведенция, чтобы рекрута ковать, так как же ты смеешь противиться приказанию начальства, негодяй?

— Ребята! — сказал я, подумавши. — Куйте меня хоть по рукам и по ногам, только дайте мне сходить проститься с женою.

— Позволяется! — вскричал заседатель и принялся за штоф, а я пошел домой, и за мной поплелась вся мирская громада.

Мать уже слышала о моем решении, выбежала ко мне навстречу, бросилась на шею, заревела:

— Ох ты, мое милое дитячко! На кого ты меня покидаешь; и не любишь ты родной матушки, коли сам идешь охотою в службу царскую!

— Не охотой иду, а потому, что очередь наша, матушка; и не брату же Василью итти, когда у него детей куча, а у меня бог прибрал последнего!

— Так за этих-то бесенят идешь ты, мое дитятко? Да подави их всех горой; да лопни они, собаки; да чтобы им и на том свете части не было! И какая наша очередь? Кто говорит?

— Я говорю, — отвечал староста, подпираясь обеими руками, — и мир говорит!

— А вот я тебе дам очередь, вор ты, пьяница, разбойник, конокрад! — Последнее взбесило старосту; но мать моя уже вцепилась ему в бороду, крича: — Помогите, православные, управиться с вором, с разбойником!

Кто шумел, кто бранился, кто пел, кто смеялся в это время. Я выцапал кое-как старостину бороду из рук матери, уговаривал старуху. Она повалилась на землю, ревела и причитала, а я пошел в хату. В сенях встретил я много баб и старух; они голосили нараспев, попивая сивуху; в углу старая ведьма кроила саван. Ничего не чувствовал я в это время, даже и не плакал, хоть и понимал, что это значит покойника. Теперь, даже теперь мне горше, ко-

гда вспоминаю об этом, а право, тогда легче было!

— Что, — спросил я, — что такое? Аль Ду-
няша отдала душу богу?

— Нет еще; да уж только что дышит, — от-
вечали мне. Тихо подошел я к подмосткам,
где лежала она навзничь, бледная, худая,
изуродованная оспою, и едва дышала, без па-
мяти и без словеси... И это была моя Дуняша,
моя красивая здоровая лебедка, звездочка из
двух деревень!

— Прощай до свиданья, — прошептал я, —
прощай, моя душечка! Не видала ты со мной
красных дней, да не видал их и я и не увижу...
Ох! Куда-то приведет меня господь — когда-то
и меня успокоит он, как тебя успокаивает.

Ничего не слыхала она, ничего не чувство-
вала.

— Готов! — отвечал я, слыша, что меня зо-
вут с улицы; вошел в избу; помолился в зем-
лю перед иконою, поклонился еще раз Дуня-
ше и опрометью бросился в телегу, крича: —
Пошел, ступай!

Мужики заорали, зашумели; все было гото-
во; явился и заседатель; мы пустились в путь.

Брат Василий, и мать моя, и детишки Василья гнались за телегой, крича:

— Пстой, дитятко! Пстой, брат! Пстой, дядюшка! Простись еще раз с нами; прими еще благословение!

— Надобно остановиться, сковать его, — кричал заседатель.

— Там остановимся, у кабака; вы выпьете на дорогу, а меня скуют!

— Ну, так вези ж до ближней деревни, — кричал заседатель, — свяжи покамест кушаками!

Мы пустились за его повозкой; за нами староста и отдаточные выборные. Вся деревня столпилась на улице, и я увидел, что не совсем-то худую память по себе оставляю, хоть и жил горемыкой.

— Прощай, Сидорка! Прощай, брат! — кричали со всех сторон, становились на колеса телеги и обнимали, целовали меня, как будто все были закадычные друзья мои.

— Ребята! Не поминайте лихом! — говорил я.

Тут мать и брат догнали меня И повисли у меня на шее. Едва могли оттащить старуху,

которая голосом долила:

— Заройте меня скорее в мать сыру землю!
Засыпьте мои ясные очи песком рассыпчатым!
Ходите по моей могилке, топчите мое ретиво сердце!

Мы выехали из деревни, и — вскоре родина моя скрылась в вечернем тумане — и ничего у меня не осталось на белом свете, кроме горя моего, спутника моего неразлучного!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ СОЛДАТ

Субординация, экзерциция, послушание, обучение, дисциплина, ордер воинский, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа, слава, слава, слава!

Суворов.

Если бы вы меня спросили, ваше благородие, каково мне было тогда и потом, когда привезли меня в город и когда совершилась моя судьбина, когда сделался я царским слугой вековечным, — ведь я не сказал бы вам,

что мне слишком было тошно. Нет! Прежде, когда слышал я отцовское проклятие, произнесенное над Дуняшею, когда бесприютно брел я с нею домой от дяди, когда потерял своего сынишку — тогда — ох! тогда куда как плохо мне приходилось! И оттого, полагаю, было мне очень плохо, что я еще худо свыкся тогда с горем: оно приходило гостить ко мне, как наш брат, солдат, приходит на временный постоя и — ничего не бережет у обывателя; легче, когда он поселится на постоянной квартире; тогда и он к другим и другие к нему как-то привыкнут. Ведь ко всему привыкнуть можно, правое слово ко всему. И много значит, когда уж нельзя воротиться назад. Горе сделалось у меня жильцом бесповоротным, и — все мне было равно после этого, меньше ли, больше ли оно.

Я воображал себе: как тяжело было бы мне переносить все, что со мной сделалось, если бы надобно было мне хоть что-нибудь оставлять на белом свете и жалеть хоть о чем-нибудь, так, как другим моим товарищам! Нас было свезено в город много; несколько дней продолжался прием, и каждый день приводи-

ли нас к Казенной палате, где мы лежали на солнышке, пока по очереди водили нас в приемную. Вокруг нас собиралась толпа народа. Чего смотрел этот народ? Бог их ведает! В чужестранных землях видал я после того, что народ сбегается глядеть, как казнят вора либо разбойника. Этакое страшное зрелище, — думал я, — не приведи господи видеть! И не понимал я, какую утеху в этом находят другие? Пусть бы хоть казнились, учились страху божию в этой страшной расплате за преступление; а то случалось мне замечать, что вора вешают, а другие тут же в народе из карманов кошельки таскают...

Так и вокруг нас собирался народ, не знаю, право, зачем, а только ни на одном лице не видал я никакого чувства сострадания и милосердия, ни одна слезинка не падала ни из чьего глаза иа нашу горькую участь. Смотрели на нас эти народы, да и только тебе, как будто смотрят на курьез. Не диво, что мы сами скоро пригляделись, как вдруг бледнел товарищ, когда его выкликали по имени; как матери, сестры, отцы и братья становились на колени, пока вели его в палату, и моли-

лись господу, чтобы он помиловал их; как старуха мать падала потом без памяти, когда раздавалось в палате: "Лоб!" и это страшное слово переходило из уст в уста по лестнице и передавалось в народ; и как потом начинался вой и плач, когда нового рекрута выводили с забритым лбом, накинув на него солдатскую шинель; и дюжина рук хваталась за него, как за мертвого, и дюжина голосов высчитывала свои прошлые радости и свое прежнее счастье...

Да, если бы люди понимали все, что перенес солдат с тех вор, как жребий выпал ему служить отечеству, до тех пор, когда царь-государь его пожалует, скажет ему спасибо за его верную службу и выпустит его на покой, так на руках бы носили они каждого служивого. Диво ли, что и наш брат, солдат, иногда вымещает на православных свою невзгоду, когда видит он, как равнодушно православные смотрят на слезы его матери, как не скажут ему слова ласкового, когда он для чести и добра их отрекается от всего света белого? Чье солдатское сердце не растаяло бы, как снег весною, когда ему сказал бы хоть один

добрый человек: "Брат, приятель! Не кручинься: таков, видно, твой жребий, чтобы послужить отечеству за церковь божию, за батюшку государя, за свою братию христиан! Не кручинься, что тебе пришлось отстаивать грудью землю русскую! Царь тебя будет миловать и миловать. Воротишься ты потом на свою сторону, так мы успокоим твою старость, и найдешь ты, что жена твоя тебя дожидается, дети малые твои подросли на твое утешенье, а земляки твои тебя чествуют и заслушиваются твоих рассказов о том, где бывал ты, что видал ты, как бил ты врагов поганых сильного царства русского"... Слышит ли когда-нибудь солдат подобное слово? А еще жалуются, что иногда, с сердцов, солдаты расплачиваются по-своему... Рассудите-ка поближе...

Ну, да толковать много не стану, ваше благородие, как закричали и в мой черед: "Лоб!" и забрили мне лоб и дали мне шинель солдатскую — носи, не изнашивай, летом не зябни, зимой не потей...

Тяжело мне стало, когда одним словом навсегда зарешилась участь моя и земляки мои

раскланялись со мной, обнялись в последний раз, понесли челобитье брату, поклон матери и могилам сына да жены; когда остался я один-одинехонек, без родных, без приятелей, без приветов людского, так что если бы я умер на другой день, так, кроме церкви божией, меня и помянуть было бы некому: она всем мать!

Грустно мне было потом, когда я вошел в солдатскую казарму и видел тысячу человек и ни одного знакомого лица.

Тяжко, грустно, но не плакал я. И когда потом вытянули меня, как тростинку, заставили поднять ногу прямо, глаза откинуть направо на сердитого капрала с усами и с фухтелем, — я переродился, казалось мне. Вся прошедшая жизнь вылетела из меня при команде: "Слушай!", вылетело и всякое помышление о будущем. Новое житье-бытье началось у меня, но крестьянское, а солдатское. Я дивился даже теперь тому: как и о чем люди плачут, когда видел, что рекруты, провожая матерей и отцов своих, плакали? Но и для меня слезы еще не пересохли в то время...

Месяца три продержали нас, добрых мо-

лодцов, в одном месте и потом отправили нашу партию в дальний город. Когда выступили мы да грянули песню, горе сваливалось с души, будто скорлупа с яйца. Э! Была не была! Начали мы знакомиться друг с другом, дружить да ладить, пересказывать да посмеиваться.

— Ты откуда?

— Оттуда-то.

— Что, у тебя остались мать, жена?

— Никого, брат, не осталось. Весь тут, как видишь; младший брат; хотел было жениться; да жеребий благословил в царскую службу по очереди.

— А у меня и жена и трое деточек дома; да жене воля на все четыре стороны: жили мы как кошка с собакой; а деточки и без меня вырастут у старика дедушки.

— А меня, братцы, заело зеленое вино да гульба молодецкая! Государю люди надобны; заменил собой доброго человека; пошел охотой; деньги взял, и те прогулял разом; у солдата хлеб даровой, одежда не купленная, хаты не нанимай! Все трын-трава!

И громкая песня, которой выучили нас ста-

рые служивые, грянула:

*Как под дождичком трава,
Так солдатска голова —
Весело служит, не вянет,
Службу царску бойко тянет!*

Мы перешли два перехода, и вот однажды привалили мы к берегу. "Давай перевоза!" По реке с другой стороны плывут к нам два паромы, и на них возы и обозы, всякий народ и скот. Мы разлеглись на берегу, ждем, отдыхаем. Смотрю издали: что это мне кажется? Ну, точно моя Дуняша: ее рост, ее лицо, ее одежда; перекрестился, отворотился — опять гляжу. Так у меня на сердце и зашевелилось. Да разве мертвые воскресают и в наше время? Эх! Не напоминай старого, чего не воротить! Паром ближе — что ты будешь делать! Ну, точно Дуняша! Да, уж это она — ретивое меня не обманет; я ее узнаю и в царстве небесном между тысячами тысяч! Поднялся, бегу к берегу, смотрю: и она меня заметила и узнала, протянула руки... Река глубокая текла между нами — сам я не чувствовал, как вошел в воду по колени, по пояс, чуть не по горло. Дуняша кричала, рвалась; ее насильно удерживали,

пока мои товарищи кричали мне с берега, что я утону, а капрал, испугавшись, думал, что я с ума сошел, хочу с горя топиться, и — размахивая руками, бегал он по берегу, будто курица с утятами... Но я не утонул, достал паром рукой, вскочил туда — да, это была Дуняша; она так крепко обняла меня, хоть я был мокрехонек... и плакала и смеялась...

Тут паром привалил к берегу. Капрал схватил меня за ворот и сердито закричал:

— Как смел ты, бездельник, беспокоить твоего начальника, причинять ему огорчение? Ведь я думал, что ты в реку бросился, хочешь утопиться!

— Виноват, ваше почтение! Жена.

— Какая у солдата жена, кроме ружья! Мочить в воде, портить казенную амуницию... Вот я тебя научу к жене бросаться...

— Что делать, ваше почтение! Без вины виноват. Она у меня такая красавица, так любили мы друг друга...

— Красавица! — Капрал взглянул на Дуняшу и расхохотался.

Она стояла подле меня, испугавшись, дрожа. Я взглянул на нее и сам немного опешил:

вместо прежней моей дородницы я увидел худую рябую бледную бабу. Так перевернула ее оспа, что Дуняша сделалась дурна, и стара, и подслеповата, и, едва оправясь от болезни, была она еле в чем душа держится; и она же верст пятьдесят прошла пешком, только бы со мной повидаться...

— Ну для ради такой красавицы избавляешься от фухтеля! — сказал капрал, засмеялся и отошел в сторону, а я стал вглядываться в Дуняшу, вгляделся и увидел, что она все прежняя Дуняша: те же глаза, тот же голос; ряба немножко, бледна немножко, да зато как же она меня любит, — и я обнял ее, как прежде обнимал. И как вспомнил я тогда все минувшее, подумал, как она меня любит, подумал, что из могилы пришла она — проститься со мною... так слезы у меня и полились из обоих глаз, и такие едучие, что твоя сера горячая! Извольте видеть, они, видно, были застарелые, потому что я не плакал с самого отъезда из дому.

— Так ты не разлюбил меня, голубчик мой, светик мой, за то, что я стала нехороша?

— Тебя разлюблю я, моя душенька? Да раз-

ве красоту твою любил я? Да ты и теперь мне кажешься красавицей!

И право, не лгал я: она мне казалась такой красавицей, бог весть отчего, право не лгу, хоть другие и говорили, что она ряба и некрасива...

— Как же ты оставил меня! Зачем ты забалил себя в рекруты!

— Очередь пришла послужить царю-государю, Дуняша. Видно, так богу было угодно. Не бойся — увидимся весело! Ворочусь капралом, подожди.

— А сколько ждать? Нет! Сердце вещует, что в последний раз я тебя вижу! Прости, мое ненаглядное сокровище! Видно, господу угодно было, чтобы допустить меня еще раз с тобой проститься. А для меня уж и саван сшили и гроб сколотили. Не знаю, дотащусь ли домой! Ну, да все равно: прилягу где-нибудь на дороге, и прими меня, господи! Зачем ворочусь я домой, когда нет тебя со мною? Теперь тебя и золотой казною не выкупишь из царской службы, а дожидаться, пока ты сам воротишься... много воды утечет... И слез-то мне бог не дает — нечем мне моего горя смочить...

Так посидели мы, поговорили, поплакали. Капрал позволил Дуняше итти со мною до первого города, где положена была остановка. И тут в последний раз стало мне опять радостно, опять весело.

Но если радость является не так, как добрый жилец, а временной гостьей, лучше бы она совсем не приходила! И добрый булат, когда его то в огне покалить, то в холодную воду сунуть, то опять в огонь, то еще в воду, — теряет свою крепость, а человек тоже: обтерпевшись в горе, он свыкается с ним, и уж ничего нет хуже этих заплаток радости на ветхом рубище печали и горести... Да, видите, не по нашему замыслению дело делается...

Мы пошли с ночлега, и Дуняша пошла со мною; успевала, бедняжка, за нашей солдатскою ходьбою, хоть несла мешок с дорожным запасом. Но ее сил не стало далее; полумертвая упала она, когда мы остановились. Я испугался.

— Не бойся, дружочек мой, — говорила она, — ничего — ведь это с радости. Вы здесь останетесь дня на три — успею отдохнуть — ничего!

— Мне нечем и попотчевать тебя, душа моя. Право, копейки за душою нет!

— У меня есть. Возьми, вот тут в мешке два рубля медью; я заложила свой сарафан праздничный, — ведь тебе в дорогу годится, а мне на что?

Дуняша рассказала мне, что она как будто сквозь сон слышала мой голос, когда я с нею прощался; и когда после того не стало меня слышно, а все завопили и заголосили обо мне, ее как будто кто приподнял да встряхнул; она опомнилась и спросила: где я? Рассказали ей правду без утайки — и к чему скрываться было? Ведь уж рано или поздно узнает — шила в мешке не утаишь; что сделалось, того не воротишь. Но она долго слушала ничего не понимая и потом об одном только стала думать: "Допусти, господи, еще раз повидаться с ним до моей смерти!" На третий день начала она вставать, но долго еще не могла ходить. Тесть мой приказывал ей не пускаться в дорогу. "Дальние проводины, лишние слезы!" — говорил он. Но Дуняша узнала, что нас погонят по дороге верстах в пятидесяти, и тихонько ушла, никому не ска-

завшись.

На третий день объявили нам дальний поход; сдали нас партионному офицеру. Дуняше нельзя было итти с нами, да и сил ее не достало бы — да и куда же итти...

Тут — грешный человек! — раскаялся я, что так скоро решил свою участь, особливо когда рассудил да раздумал, что Дуняша не переживет разлуки со мною. Темнее осенней ночи показалась мне будущая судьба моя. Я подумал даже — страшно сказать! — не убежать ли мне? Но потом начал я молить бога отогнать от меня злые помышления. И куда убежал бы я? Разве в воду? И что же потом? Посрамление и гибель временная и мука вечная! "Нет, Сидор! — думал я, — за богом молитва, а за царем служба не пропадают! Чему быть, тому не миновать!"

Не знаю: счастьем или несчастьем назвать то время, когда я прощался с Дуняшею. Конечно, это прощанье значило все равно, что разбедить рану, которая было задохлась, онемела и замерла; но опять и то, что мне как-то отраднее стало, когда подумал я, что мог еще раз проститься с Дуняшей; что она жива еще,

а пока она жива, так есть еще кому на свете помнить обо мне, и богу помолиться, и душу помянуть. А уж это верно, что на том свете душе человеческой легче, когда ее поминает здесь родная душа и к богу молитву об ней посылает, вынизанную слезами сердечными, как жемчугом крупным, перекатным.

Ну, а Дуняша моя почти радовалась, прощаясь со мною. В деревне нашей наговорили ей, будто староста и заседатель неправедно отдали меня в солдатство; что если похлопотать да потратить, так меня воротят, где бы я ни был. И еще более: если бы мог я поставить за себя рекрута, так и по очереди отданного все еще меня воротят. Дура Дуняша всему этому верила и не могла нарадоваться, только о том и говорила, хотела просить отца своего, хотела продать все, что у нее было, итти в работу сама. "Лишь бы знать-то мне, где ты будешь; пиши ко мне, мой дружок, почаще, а уж я либо добьюсь того, что тебя воротят, сама пойду в губернию, стану просить самого губернатора, либо — не переживу"...

Она сдержала свое последнее слово... Я не хотел печалить ее, не спорил; но когда при-

шлось мне обнять ее в последний раз — было это на большой дороге — наш отряд вышел за город и дожидался офицера своего — случился праздник какой-то большой — и много карет и дрожек ехало мимо нас на гулянье за город, и пешеходы шли туда, и все были так разряжены, так веселы — и всякий ехал с своею женою, с своими детьми — и разносчики толпой бежали за гуляющими... Обнявши свою Дуняшу, чувствуя, что это в последний раз, — ох! как невыносимо было, ваше благородие, тяжко несказанно, так, что я, грешный человек, готов был возроптать тогда на милосердного господу...

"Одна малая частица того, что стоят эти кареты и коляски, — думал я, — выкупила бы меня, сделала богатым и счастливым, соединила меня с Дуняшею". И я готов был упасть на колени перед этими богачами, которые, смеясь и радуясь, такие здоровые, такие веселые, ехали мимо и не думали даже и поглядеть на нас, — я готов был вымаливать у них у каждого хоть по немногу их счастья... Но — ударили, забили в барабан, и мы отправились в поход; мне нельзя было и оглянуться, по-

смотреть: стоит ли еще Дуняша и смотрит ли на меня...

Два, три перехода, даже до самого прихода в полк, чуть было не наложил я на себя руки, и не один раз, вертя в руках ружье мое, думал я: "Только пошевелить курок, и — поминай, как звали!" Мне казалось иногда ночью, что лукавый стоит подле меня и шепчет мне это в уши; но я вставал, крестился, и демонское обаяние проходило от креста и молитвы. Я оглядывался вокруг себя, видел своих товарищей, видел, что я не один... Не диво, коли солдаты крепко стоят друг за друга: их связывает одинакая участь; их дружит общая судьбина, общая дума, что нет у них ни отцов, ни матерей, ни роду, ни племени, ни впереди надежды, ни назади памяти — приютиться негде, завидовать некому, думать не о чем, лег — свернулся, встал — встряхнулся — весь тут! Солдат, божий человек, один, как солнышко на небе у царя небесного...

Я писал к Дуняше; ответа не было; посылал и со вложением письма — не было вести с родины. Потом перестал я писать; прошел год, прошло два, прошло три — перестал и ду-

мать. И когда об этаких вещах думать солдату! Ученье, смотр, переход, дневка, остановка; маршируй с одного края матушки-России в другой; неси, няньчай неизменного товарища, ружье солдатское; стой на карауле; потом чистись да ладься на ученье... Говорят, будто есть у богачей какая-то особая болезнь — скука. Под солдатскую бы я суму всякого, кто хандрит да с жиру бесится, — поверьте, что все забудет и развеселится и выздоровеет. Оно не то, извольте видеть, что развеселится, а рад будет покою, как нежданному доброму гостю, рад будет отдыху, как сестре родимой. Как бы рассказать вам о солдатском житье-бытье? Жаль, что не умею, а не можете ли вы представить себе, ваше благородие, что солдат человек, у которого душа перешла в ружье, а сердце бьется в патроне. Оттого штык ему брат родимый и не выдает солдата — послушнейшей жены любимой, вернее брата крестового; а пуля слуга его самая верная: куда пошлют ее — слушается, летит прямехонько и скорехонько, скорее мысли человеческой...

Несколько лет не получал я писем от Дуяйши; не знал ничего, что делается на родине; жил с ружьем, на ружье и ружьем, не видя ничего, кроме казарм да ученья, смотра да командира; и от всего этого стал я совсем другой человек: походил на такого человека, у которого переменили руки, ноги и голову и приставили ему другие ноги, железные, другие руки, медные, другую голову, с мозгом, вместо прежней, мужичьей, без мозга. Не хвастая скажу, что сделался я лихой солдат, так что меня ставили в пример товарищам; командиры меня любили; товарищи слушались; палка реже других гуляла по моей спине. Без палки нельзя, ваше благородие, истинно нельзя, так, как, не побивши жены, чем докажешь, что любишь ее в самом деле — ну, то есть очень любишь?

Когда, изволите видеть, приставили мне другую голову, как я докладывал вам, увидел я, что был я мужиком большая дурачина и что наука пособляет уму и разуму. Вот и принялся я учиться и скоро выучился грамоте, так что никто лучше моего не умел написать рапортики, и меня произвели в унтер-офи-

церы.

Но кто век свой провел в казарме да на ученьи, тот еще плохой солдат, в половину солдат, в четверть солдат, как говорил наш отец Суворов. Нет! Для полного солдата надобно побывать в походе, помыкаться на чужой стороне, окуриться порохом, поджариться на огне. Слыша рассказы старых товарищей, куда как мне хотелось поработать штыком, повидать чужой стороны, отведать духа басурманского, чем пахнет штык, когда свалишь им полдюжины. Особливо был у нас в полку один старый служивый, лихой фельд-фебель, еще с Румянцевым под Кагулом бывал и с Суворовым на Измаил шел. Вот как, бывало, начнет Зарубаев рассказывать, так у нас слюнки текут. Рассказал бы я вам, да где — только испортишь рассказ Зарубаева! Ведь дело мастера боится.

— А что, Зарубаев, — иногда спрашивали мы его, — как ты думаешь: скоро ли опять начнется война? Скоро ли опять выпустят царскую армию на неприятеля?

— А бог весть! — говаривал он. — При нашей матушке государыне мы почти беспре-

станно дрались, да тогда были на то резоны. Видите: с одной стороны были тогда татары, с другой турки, с третьей персияне, с четвертой шведы, с пятой поляки, с шестой пруссаки, с седьмой китайцы. Государыня и подумала: "Ну, хорошо, пока еще они боятся да пока мы готовы, стоим с ружьем в руках. Да ведь на всякого мудреца бывает довольно простоты. Задумаешь отдохнуть, положишь ружье, вздремнешь, а они как все вдруг нагрянут, так вот тебе и раз; рук-то у меня всего двое!" Она и начала, знаете, испод-тиха, приосанилась, приоправилась и говорит прежде всего турецкому султану: "Послушай, султан: не вели ты татарам крымским шалить!" А татары-то, знаете, жили тогда в Крыму, туда на полдень от Курска, и к ним по степи нельзя было пройти; а они то и дело на лошадях переедут через степь, да и давай грабить, жечь, рубить; ни церкви божией не оставят, ни младенца не пощадят, за ноги да об угол. А как соберутся мстить им за кровь неповинную христианскую да за церкви божий, так они гикнут, да только их и видели, улетят на своих лошадях, и следа по ковылю да по степи не

сыщешь. Ну, а султан их похваливает да девок себе берет, которых татары увезут из России, — ведь он Махметовой воры, и у них вина не пьют, а жен хоть сотню держи. Этакие болваны: не знают вкусу в вине, не знают и того, что и с одной женой горе берет, а с сотней так просто со света беги! Оттого у них такой содом бывает между женами, что султан сам не рад, и дела ему делать некогда, и на войну он не ездит — все сидит у себя да женские сплетни и ссоры разбирает. Вот султан отвечает: "Нет, Катерина Алексеевна, я татар не уйму, саламалык (по-турецки, то есть, не хочу)!" А государыня говорит: "Уйми", а он говорит: "Нет, не уйму!" — "Так постой же, — сказала государыня, — вот я тебя проучу, копченая ты борода, Саламалык Махметович! Ведь у тебя и Царьград-то твой чужой; ты ведь его у греков взял, когда православного царя Константина убил. Отдай ты мне Крым, Очаков, Измаил, Бендеры, Кафу — и..." — начали ему сотни две городов. "Да, как бы, дескать, не так, то есть тово воно, как оно, изволишь видеть!" — отвечал султан. Но не успел он трубки докурить, не успел оглянуться, а

уж наши генералы, Румянцев, Потемкин, Панин, и пошли, да и пошли! Да ведь как пошли: султан собрал было тьму тьмущую басурманов, а они как начали да начали — куда тебе! Только иверни полетели! А особливо отец наш, граф Александр Васильевич Рымникский, так он с ними просто шутил. Под Кинбурхом было у него тысячи две солдатшек, и то уж так, кое-чего; а турков пришло сто кораблей, полнехоньки народу, и вышли они на берег. Ему и говорят: "Ваше превосходительство! Турки пришли", а он говорит: "Хорошо!" — и сам будто спит. Опять говорят: "Ваше превосходительство! Турки уж батарею построили". А он говорит: "Хорошо!" — и только себе. Ну, уж еще пришли, говорят: "Вставайте, ваше превосходительство! Все турки вышли на берег и корабли назад поотпущали; хотят с чесноком нас съесть!" Как он вскочит — ажно он и не спал — да как запоет пехухом — турки так и дрогнули — и пошла писать! Да ведь так расчесал, что они сдуру-то в море бросались, хотели до Царьграда вброд перейти, и достались на закуску морским рыбам! А что было еще под Измаилом, так и рас-

сказывать страшно! А под Очаковым, в самый николин день? Сам я там не был, а слышал, что там ядра в пушках замерзали, огонь застывал, снегом стреляли, из льду лестницы на стены делали. Вот услышал шведский король и говорит: "Матушка государыня! Не тронь моего друга, султана турецкого, а не то отдай мне три города!" Знаете песню:

Пишет, пишет король шведский

К государыне в Москву:

*"Ты, великая государыня,
Отдай три города мои —*

*Первый Ригу, второй Ревель,
Третий славный Петербург;*

*А не отдашь ты их мне,
Походом пойду;*

Развоюю твою Россию,

Тебя самое в полон полоню!

"Вы думаете, государыня его и послушалась? Да, держи карман! И король шведский разъярился, пришел к самому Петербургу и открыл баталию на море, так что в Петербурге окна дрожали. Адмирал Чичагов — дай бог ему царство небесное; — так отделал его, что

и саглого адмирала шведского взяли. А между тем через моря далекие, через аглицкую землю, через Средиземное и через Белое море в грецкую землю пришел наш адмирал Алексей Григорьевич Орлов — этакий молодчина, чуть не в сажень — и хотел взять самый Царьград. И как начал палить, так султан уж не шутя испугался, выслал своих корабельщиков, говорит: "Идите вы, мои верные корабельщики, возьмите этого Орлова живьем, а не то я вам всем головы поотрублю!" Корабельщики поклонились султану и пошли. Но как увидели русские корабли — душа в пятки ушла, — они и давай бежать. А русский адмирал с ними шутить не захотел, загнал их в какую-то гавань и послал одного хитреца, а того угораздило — зажечь море; все турки так живьем и сторели! И такая была возня, что от Царяграда до земного пупа да до Ерусалима земля тряслась, а в итальянскую землю от кораблей огарки летели. Тут султан взметался, и жены все к нему приступили; говорят: "Мы тебя башмаками откозыряем, если ты не помиришься с русскими!" Он еще было послал к персидскому шаху, да к польскому королю, да

к китайскому булдыхану просить помощи. Китайцы, знаете, тоже басурманы, живут за Сибирью, к Индейскому морю — народ узкоглазый, делают чай, вот что бары наши пьют по утрам; а впрочем, не воинский народ, и домы-то у них бумажные, а пушки стеклянные, ружья глиняные. Булдыхан и говорит султану: "Рад бы я тебе, приятель дорогой, помогать, да видишь: мне далеко, и у меня русские купцы чаю покупать не станут". А шах говорит: "Пожалуй, помогу!" И послал он войско в Грузию, что между Синим да Черным да Хвалынским морем, где стоит город Железные ворота; еще, говорят, Александр Македонский его строил — была стена от моря до моря, да теперь развалилась. Государыня послала туда графа Зубова, и он так пугнул персиян, что они убежали за Араратские горы, на которых Ноев ковчег остановился, такие, слышь ты, горы, что как взглянешь на вершину, шапка свалится, и там на верхушке никогда снег не тает. Вот и остались у султана только поляки — народ задорный, ну-таки и храбрый — в старые годы, при царях, и Москву было завоевал, да русский мясник один собрал мужич-

ков и дубьем прогнал их. Поляки и зашевелились. "О вшистки дьяблы! Ратоваць за моспа-на султана!" (Зарубаев был мастер говорить на всех языках.) Государыня и думает: "Хорошо — поколотили мы турков, татар, шведов, персиян; но что другие подумают? Ведь этак, дескать, кой чорт — русские бьют, бьют, да и до нас добьются? А народу еще много басурманского: агличане, француз, немцы, итальянец, и бог ведает — как песка морского, у бога народов бесчисленно. Хоть и храбры мои русские, да ведь против целой земли господней не станешь". Она и послала к цесарцу да к пруссаку. А тогда в Пруссии был король Федор Федорович, невелик ростом, головка небольшая, глаза ястребиные, коса в аршин, да умен и такой храбрый, что семь лет дрался со всеми соседями, и уж кое-как русские же пособили — всех было завоевал! И говорит ему государыня: "Любезный брат, король прусский! Пойдем, уйдем поляков; возьмем их царство и разделим". Тот и рад. Государыня послала Суворова — вот тогда-то было взятие Праги, о чем я вам прежде рассказывал. И Польши не стало; и государыня взяла себе сорок городов

с пригородками, двадцать четыре дала прусскому, а четырнадцать цесарскому императору. Тогда видит султан, что худо, взмолился уж не Махмету, а русской императрице, давай кланяться, просить мира; и с ним помирились, хорошо помирились, так, что если бы еще раза два этак помириться, то султанское величество маршируй через море в эфиопскую землю, а нам подавай все, чем прежде владели греки. Да ведь оно и праведно: греки нам отдали и свою веру православную; и последняя греческая царевна вышла за нашего царя Ивана; и на гробе царя Константина, который с матерью Еленою нашел крест животворящий, — вот, что праздник воздвиженья, — написано мудрыми людьми, что некогда русские завладеют Царьградом, и в Царьграде есть ворота в стене, закладенные турками, сквозь которые русские пройдут в Царьград. Эти ворота заколдованы были одним немцем; да что устоит против силы честного и животворящего креста господня? Перекрестись да штыком! Посмотрим, устоит ли!"

Так или похоже на это рассказывал нам Зарубаев, и мы, бывало, сидим вокруг него и це-

лые ночи прослушиваем, как он рассказывает. Этаким был солдат, чудо, с каменною грудью, с золотым языком — златоуст, да и только! И обо всем был мастер говорить. Некоторые из нас, новичков, станут, бывало, спрашивать его:

— Как же, Зарубаев, не бояться смерти? И хорошо бы оно, пошел да подрался, но ведь пуля-то не свой брат; а как ногу либо руку оторвут — больно; да и страшно смотреть, когда крошат человека, будто битое мясо готовят, а кровь черпают, будто за здоровье выпить хотят?

— Ох! Вы трусы, дряни! — говорил он. — Да не все ли равно: когда-нибудь умирать надобно? Не лучше ли умереть вдруг, без боли и болезни, нежели изнывать да кряхтеть и чахнуть полгода? Да знаете ли, что на ядре, которым унесет вас из здешнего мира, вы перелетите прямо в царство небесное? Ведь церковь святая говорит: "Больше сея любви нет, еже душу свою положити за ближнего", и она во веки веков поет большую панихиду за всех православных воинов, на брани за веру и отечество убиенных. А слава-то какая, а честь-то

какая? Командир скажет: "Ай да молодец был!" А государь скажет: "Этаких молодцов у меня осталось немного!" Так дождется ли такого слова какой-нибудь гарнизонная крыса, если и сбережет свою дурную башку до отставки, сидя на печи в казарме? Страшно! Вишь что выдумали! Оно, коли хотите, и страшно сначала, а там, как заговорят пушки да затрещают барабаны, — так и страх будто с гуся вода, — так и лезешь вперед, так руки и чешутся на басурмана...

Но ни об чем не говаривал Зарубаев столь хорошо, как о графе Суворове, с которым служил долго, которого видел в Польше и в Туретчине... Но полно пересказывать вашему благородию чужие рассказы; лучше скажу о том, что сам я видал. Вот изволите видеть, прошу о внимании: однажды сажу я в канцелярии; слышу такой шум, крик; бегу, смотрю: толпой все высыпали из казармы; офицеры обнимаются, солдаты в кружке около Зарубаева.

— Что такое сделалось?

— Ура! — кричит он. — Радуйся, Сидор! Давно хотел ты понюхать из пушечной таба-

керки солдатского табаку да помериться лбом с ядром, кто крепче, — радуйся! Мы идем в поход!

Тут узнали мы, что приехал курьер, и через три дня мы выступаем, и что батюшка наш граф Александр Васильевич нами начальствует. Вечером Зарубаев уже все узнал и рассказал нам, что мы не за себя будем драться, а за цесарского императора, и с таким народом, с которым еще не дирались — с французом! Не умел он растолковать, за что дело стало, а только слышал, что французы, невесть с чего, вдруг разъярились, начали всех колотить, и пруссаков, и агличан, и цесарцев, так что не взмилился никому белый свет. И цесарский император взмолился нашему императору: "Ой, батюшка, отец родной, Павел Петрович, государь всероссийский! Смилуйся! Еще-таки управлялся я с французом, пока не было у него генерала Бонапарте, а этот меня совсем загонял. А теперь Бонапарте уехал за море бить эфиопов; а у тебя есть старик Суворов; пришли его, ради Христа!" Император и позвал тотчас Суворова и сказал: "Ну, Александр Васильич! Виновато-

го бог простит. Поди, спасай царей! Вот тебе моя армия. Надеешься ли?" — "Попытаюсь, — отвечал старик, — да с таким царем, как ты, почто не спасти!" Вот Суворов поклонился, велел заложить кибитку и поехал и нам велел идти на французов за цесарскую страну в итальянскую землю.

Не стану вам рассказывать, ваше благородие, как мы радовались, как мы пошли, шли, шли, всю цесарскую землю перешли. Нагляделся я чудес и диковинок. Города каменные, домов по семи один на другой настроены, улицы узкие, сивухи русской и в помине нет, все виноградное вино да пиво; дороги, как улицы, мощеные — и грязи-то бог им не дает. Ну, а народ добрый, простой — только захоти, так и обманешь; и все бормочут по-своему — чудный такой язык! Хорошо еще, что Зарубаев нас подучил их языку, и мы так, бывало, и режем. Скажешь: шринкаты! и укажешь на рот — и несут тебе вина; выпьешь, скажешь: "гут!", а немец и рад, и смеется, и начнет тебе лепетать; а ты только подговариваешь ему: "гут я — то есть: "хороши я"; да уж если надоест очень, так и промолвишь: "Ты, немец, гут,

а я, русак, гутее, а Суворов еще гутее". Тогда, бывало, немец снимет шляпу и поклонится: "О, Субаров". Но итальянская земля, ваше благородие, еще мудренее: у них вместо нашей березы и сосны — лимоны да померанцы; и зимы нет — такая земля, что не благословил ее бог снегом, и прокатиться на санях некогда и негде — и все такая теплынь, что потеешь, потеешь, бывало, да и тьфу ты, пропасть какая! Девци у них хороши, только все басурманки, поклоняются римскому папе и против русских дородностью не будут.

Вот мы ждем не дождемся, когда встретимся с французами; и потрушивали мы немного, хоть надеялись на бога и на Суворова. "Не знаю, ребята, — говорил нам Зарубаев, когда мы у него спрашивали, — нечего на душу греха брать, не знаю, что за народ, не случилось драться. А уж что они хуже русских, за то голову прозакладую, хоть они матушку-репку пой!" Кручинило нас и то, что мы еще не видали нашего Суворова.

Будто теперь смотрю — было в апреле месяце, через три дня после Егорья, ночью подняли нас с лагеря. Был тогда у нас генерал

Петр Иванович Багратион; выстроил нас в ряды; сам выехал перед фрунт — нос такой большой, голос резкий, мужественный; начал говорить; мы закричали: "Рады стараться!" Сам он кликнул охотников, и пошли мы все. Ночь хоть глаз выколи; подошли к реке... Как бишь она?.. Ада, Еда, забыл... Залегли мы все на берегу, и начали наши инженеры мост мостить. Французы и не заметили этого, а мы к свету как грянем по мосту да на них... То-то пошла потеха! Кто бежит, кто дерется, кто кричит: "Пардон!" Тут и страх пропал. "Эхе! — говорил Зарубаев, смотря на пленных, — да этот народ хуже турка, а еще туда же, лезет драться с русскими!"

Но это было только цветочки. Скоро узнали мы, что французы лихой народ. Было это в мае месяце, жара такая, а вместо отдыха мы ходили взад да вперед, по-немецки, потому что немцы до тех пор не бьются, пока не выберут места, откуда можно отступить, если сила не возьмет, — уж такая у них повадка. Старику Суворову не нравилось это, но что делать! Назвался груздем, так полезай в кузов. Наконец выбралась душа на свободу: слышат

немцы, что отовсюду идет француз, испугались, а Суворов и начал по-русски — повел нас прямо. Тут в первый раз я видел Суворова.

Все мы стояли в строю, и я глаза проглядел — так хотелось видеть этого отца солдатского, и я представлял его себе еще выше нашего Багратионова. Вот и слышу, ревут: "Ура!" И мы крикнули, и едет... Ах ты, господи боже! Из див диво: стариченцо, худенький, седенький, маленький, в синей шинели, без кавалерии, на казацкой лошади; поворачивается в седле направо, налево, а за ним генеральства гибель. Но как он подъехал, как заговорил, так я и узнал: отчего солдаты его любят? Все поняли мы, о чем говорил он, и так сладко и так умильно говорил он, что когда он снял шляпу, начал молиться Николаю чудотворцу, мы готовы были и плакать и смеяться — подавай по десяти на одного! Уж не по приказу, а от души кричали мы: "Ура!"

На другой день рано утром вывели нас, молодцов, поставили. Солнышко только что всходило. Посмотрю кругом — туман, полки, артиллерия. "Где ж неприятель?" — думал я и узнал, что дело не то, как ночью мы перешли

по мосту. Сперва началась жарня на левой стороне, словно гром, так и перекатывается. И вот вспыхнула деревенька направо, там налево; туман пронесло — пожар разгорался, пальба крепчала. Тут я, правду сказать, почувял пушечную лихорадку, стою и дрожу. Особенно когда вдалеке пошли в атаку и нам видно было, как один из русских полков бежит, за ним гонятся французские уланы и гусары, а другого и не видно стало вдалеке — он, как печь, горел в дыму, в полыме от беглого огня. Тут поволокли мимо нас раненых, изувеченных — они стонут, воют; иной ползет и просит: "Приколите, ребята!" Наконец дошла очередь и до нас; в первый раз услышал я, как запели ядра над нашими головами, и нас стало вырывать целыми десятками. Мы дрогнули, особенно наша братия, небывальщина, — боязно, хочется посторониться от неожиданного гостя — да иной наклонится, а его и следу нет — кровь, мозг брызгали со всех сторон! А между тем нам кричат одно: "Держи строй! Смыкайся!" Зарубаев стоял подле меня; пальба ревела так, что уж ничего не было ни слышно, ни видно, — только будто из темной

тучи впереди сверкал огонь, а грому от пушек потому не было слышно, что кругом все скаталось в гром — земля дрожала — свету представленья!

— Сидор! — сказал мне Зарубаев. — Ты дрожишь?

— Виноват, приятель, дрожу!

— Дурак! Если на котором ядре твоя смерть написана, от того ядра ты нигде не спрячешься, а которое не тебе назначено, так всегда пролетит мимо! — В это время над головой загудело у нас ядро — я неволей присел, а Зарубаев захохотал. — Кланяйся, посылай весточку на родимую сторону; уж оно далеко.

Не успел докончить он слова, как меня всего обсыпало землею, сшибло с ног, я упал, вскочил, щупаю: цело ли ружье — цело! Слышу знакомый голос... Зарубаев лежал подле меня. Я наклонился к нему.

— Ну, Сидор, прощай, брат! — сказал он. — Учись умирать по-солдатски — видишь; как! Твори молитву, вытянись в последний раз, явись к богу молодцом, и как спросят на переключке у господ, отвечай: "Лег за матушку

Россию и за веру православную..." Господи помилуй!..

Кровь текла из него и душила его... Тут, видим, сам Багратион наш выскакал, командует: "Вперед!" Все рванулось вперед, и не знаю, как вам сказать, ваше благородие: крик, пальба, бежишь, спотыкаешься на мертвого, топчешь живого — барабаны, пушки, треск, стон — вдруг шаркнули в нас картечью; слева хватили гусары — народ валится один на другого — я упал; на меня попадала целая груда товарищей — слышу, как ездят через нас лошади... Но — жив, опять тихо, тихо — я выкарабкался и вижу, что немного наших егерей стоят, заряжают ружья — впереди наши русские открыли пушечную пальбу, такую, что не приведи господи — куда устоять — ветром несло дым на французскую сторону, и французы бежали к реке, а вдогонку их провожали ядрами! Как одурелый, бросился я к товарищам. Нам тотчас скомандовали, примкнули нас к другому полку, велели рассеяться, итти вправо, в огонь, где горела деревня, — мы бросились через сады... Что за сады такие: лимоны, померанцы, виноград, все, что у нас гос-

пода в оранжереях да в теплицах берегут! И поверите ли: весь страх у меня тогда пропал — точно как на кулачном бою — только допусти, господи, до врага-собаки — у! — и в огонь и в воду! Французы сильно стреляли из-за огородов; мы ломали огорожи, лезли. Ох! Была тут потеха — натешилась душа! Чего тратить казенные патроны! Ближе к долу — прямо через загороду да штыком... Сробеет! Ведь не русский!

Но тут увидели мы однакож, как говорили после и самые старые солдаты, что французы мастера драться. Ведь с самим графом Суворовым три дня тогда дрались они; а потом, разумеется, побежали, давай бог ноги! Еще бы с Суворовым да русскому уступить!

Таково было первое дело, где я попался в самую суматоху и вышел цел. И это меня так ободрило, что потом, истинно я не похвастал бы перед Зарубаевым, если бы сказал, что не кланяюсь ядрам. Но Зарубаева уже не было на белом свете — жил славно и умер славно! Мы все жалели об нем... О себе бы лучше пожалеть... Что за радость теперешняя моя жизнь: с деревяшкой маюсь, а Зарубаев уж

лет двадцать, как отслужил богу и государю, да и спокоен. Рвалось у меня сердце, когда потом поганый француз пришел к нам на святую Русь; когда слышал я, как он запленил матушку-Москву, ограбил соборы православные, поругался святым иконам, — хотел было хоть в фурлейты проситься... Ну, и без меня управились. Не сдобровал француз проклятый, замерз в наших русских снегах! Хорошо было ему драться в тепле, в итальянской да в немецкой земле...

Проходил здесь отставной солдат, поразговорились мы, и порассказал он мне обо всем... Эх! Не было меня старика, как батюшка наш царь Александр Павлович давал баталию под Липским — с горя плакать хочется! Что наши суворовские баталии перед этим побоищем? Игрушки! Ведь одних пушек было, ваше благородие, 2000! И надобно было дать такую баталию, чтобы порешить этого колдуна Бонапарте. Недаром его боялись цесарцы.

Правда ли, ваше благородие, будто теперь отправили его за море, за окиян, на кипучую морскую пучину? Что-то не верится! Ведь, на-

ше место свято, говорят, он антихрист, и скоро настанет кончина мира, и он опять выйдет? Смотреть на мир и на людей, так кажется, это неправда: люди каковы были, таковы и есть; и знамений пришествия антихриста, о которых читал я в книге преосвященного Стефана Яворского, еще нет.

А знаете ли, ваше благородие, что я видел Бонапарте, ей-богу не лгу, видел, как вас теперь вижу. Извольте, я вам расскажу. Если бы мне стать рассказывать все, что видать случилось, где я бывал, что слышал, — ночи-то мало бы мне было, а оно и без того уж не рано. Вот уж и Сохатый на небе хвост поворотил, и Кычиги шарахнулись на утро...

Поплакали все мы, солдатушки, как услышали потом о кончине графа Суворова, упокой господи его душу! После того полнодраться — заржавели ружья, заплесневел порох. Лет шесть прошло, как воротились мы в Россию. Наше дело солдатское, не нам рассуждать; но как слышали мы разговоры командиров и начальников, так иногда, бывало, толкуем между собою — так и рвется ретивое! Этакую вольность взяли себе эти французы!

Забыли, как бегали перед Суворовым, и, смотри пожалуй, воротился Бонапарте из Эфиопии — уж он и император — уж и Цесарию взял за себя — и пруссака смял — и Италию заполонил! Наконец ударили поход — слава тебе, царю небесный, утешителю, душе истинный, что внушил такую мысль православному царю земному! Пошли мы по знакомой дороге в немецкую землю, опять с нашим генералом Багратионовым, суворовским ученичком...

Вы, конечно, слышали, ваше благородие, обо всем, что происходило и в цесарскую и в прусскую войну, до самого замирения под Тильзитовым? Говорят, будто были у цесаря изменщики, а я так думаю по своему дурацкому рассуждению: грех да беда на кого не живет. Если Бонапарте и не антихрист, так все-таки он колдун. Что он был заговорен от пули, в этом уж меня ничто не уверит. Этак выдумали: не заговорен! Да как бы он укрылся от двадцати народов, пока еще не покорил их, когда каждый человек из этих народов целил в него чем попало?.. Не мое дело толковать об этом, смекайте сами. А вот видите.

Когда наш генерал Леонтий Леонтьевич Бениксонов показал Бонапарте, что русак не пруссак и что зимой русский еще лучше дерется, по пословице, что русскому здорово, то немцу смерть, и наоборот, Бонапарте рад был помириться и такой лисой прикинулся, что наш великий император Александр Павлович поверил ему. Любо, дорого было смотреть, как они тогда помирились. Такой диковинки долго не увидит другой, какую мы тогда видели. Народ, который пришел драться и губить друг друга, и бог весть откуда пришел, — тут было десятка полтора разных народов, — вдруг поладил, помирился, обнимался. Небольшая текла тут речушка, Неман. Александр Павлович сказал Бонапарте: "Твоя сторона, Бонапарт, будет левая, а моя правая; ты будто там хозяйничай, а я будто здесь; ты ко мне приходи в гости на эту сторону, а я к тебе стану приходить на ту. И коли уж друг, так друг: ты не бери с собой стражи, и я не стану брать с собой". Бонапарте сказал: "Ладно, государь император Александр Павлович! Изволь, будь по-твоему!" И начались такие пиры, гулянья, что на одном пире по двадцати королей да ко-

ролев бывало.

Наш полк славно отличился в последних делах, а в награждение велено было нам содержать караулы у самого государя императора. Однажды стою я с товарищем на часах у самого входа в ту комнату, из которой входят к императору... Уж, разумеется, поджилки дрожат, ваше благородие: император Александр Павлович был такой добрый до солдат, да ведь император, то есть земной бог, ваше благородие, нельзя не побояться, хоть рад душу за него положить! Смотрю: двери, что против меня прямо, растворились настежь; наш русский генерал какой-то вытянулся в струночку и разговаривает с каким-то генералом — ну, этот не наш, да и не пруссак; приятелей пруссаков мы уж по мундиру различать научились — нет, не пруссак, да и такой неуклюжий, плотный, невысокий; и мундир на нем такой чудный: брюхо все наружи, без перетяжки, и по краям обложено белыми широкими выпушками; шпажица предлинная; в руках шляпенка маленькая, низенькая; сапожищи такие страшные, за колено. Поговорил с генералом нашим да через комнату к

нашей двери, скоро, скоро таково. Вижу, что особа должна быть высокая; сделал честь ружьем. Он остановился да на меня, прямо таково, уставил глаза... Ну, поверите ли, ваше благородие: так вот морозом обдало всего — волосы подстрижены в кружок, лицо такое медное, а глаза... Ах ты, господи! Дня три потом мерещились они мне, такие страшные, так и сверкают, как будто уголь черные, красные, желтые — и бог знает какие! Будто кто-то шепнул мне, и я тотчас подумал: "Ведь это сам Бонапарте!" А он мне, но с того слова, указывает на дверь, что к государю-то, и говорит, так скоро, скоро, как будто сердито, или бог уж его знает — да и на каком языке, господь ведает, — он, чай, все языки знал, а слышалось мне, будто по-русски: "Тут император?" А я таково скоро: "Тут, ваше императорское величество!" Он усмехнулся и прямо туда, подошел, да потихоньку и стучит в дверь. Дверь отворилась. Сам император наш Александр Павлович показался в дверях и как увидел того, что пришел-то, будто удивился: "А!" — да и заговорил с ним по-ихнему. А этот сам заговорил — лопочет, лопочет императору что-то,

да все таково скоро, — а император-то все этак ему руку трясет да кланяется, и оба, знаете, так будто улыбаются, и ушли в кабинет и дверь заперли.

Это был сам Бонапарте.

Тут прибежало много генеральства, и нашего и всякого, и начали бегать по зале, говорят между собой; а один с такой звездицей ко мне и говорит: "Лампърёр?" Ну! Уж я смекнул, что не может выговорить хорошенько: "император", и говорю: "Там, ваше превосходительство, в кабинете". А один из наших генералов подошел ко мне, да и шепчет: "Дурак! Ведь это король!" А почему мне было знать: тогда королей-то собралось в одном месте не один десяток. Все они ушли опять и двери затворили. Через час времени этак выходят и наш император и Бонапарте; что-то смеются и все говорят; тот все лопочет скоро, скоро, а наш император только подговаривает: "вуй, вуй!" И стали ходить по комнате — и пошли вместе, сели на лошадей и поехали вместе. Наш государь, знаете, молодец собой, такой красивый, высокий, дородный, да и одет-то уж как... А на того посмотрю с искоса и думаю:

"Ох ты, окаянный! Так это ты-то Бонапарте? Штучка невеличка, да куда бойка, — да каким ты шутком одет..." Право так, ваше благородие, право так...

После того вскоре нам сказан был поход в Россию, только не туда, где я бывал до тех пор, а все на полночь. Шли мы, шли; спрашиваем: "Господи! Да будет ли конец? Неужели нашей матушке-России и предела нет?" Ваше благородие! Бывали ль вы туда, дальше за Петербург? Вот уж сторонка! Мы шли в эту сторону через нашу немецкую землю, да через чухонскую, да через латышскую и пришли за Балтийское море в северные горы, где нам объявили, что началась война с шведом. Зима была такая холодная, а сторона, какой я еще и не видывал — гора на горе, все каменные; река выше реки: течет, течет, упадет с камня, да опять течет будто река, и опять упадет с камня, и опять течет. Целая крепость вырублена там из камня, с пушками, и с стенами, и с воротами. Дороги все были занесены снегами, и как мы шли походом, так впереди лошадей сорок тянули перед нами деревянный треугольник, а то и проходу не бы-

ло — снег по груди; лес со всех сторон; увидишь деревушку, так в ней неприятель; руки мерзнут, да делать нечего — заряжай да работай штыком по колено в снегу. Стойкий народ эти шведы; куда лихи драться — уж не попросит пардона; та только на них беда, что народу-то у них мало. Кажется, наши генералы были молодцы: Багратионов, Кульнев, — а часто бывало, Кульнев закусит свои длинные усищи да только зубами скрыпит, а взять нельзя — жжется!

В этой стороне наслужил я недолго, ваше благородие, и шведская пуля подписала мне отставку. Недаром есть поверье, что уж если кто долго служит и в поле бывает, да у него хоть немного крови не выпустят, так ему не сдобровать: либо положит свою голову, либо расплатится дорого! Так сбылось и со мною. Хранил меня бог до тех пор; ранен я не был ни одного раза, хоть комплекта три товарищей переменил, и иногда, бывало, посмотришь: немного, немного остается моих первоначальных командиров и приятелей! А в это время — уж пусть бы на сраженьи, и сердце бы не болело — а то... поди ты, устерегись, ко-

гда уж рок такой придет, — заблудящая пуля-дура, как говаривал наш батюшка Суворов, разжаловала меня в инвалиды.

Шведы засели в одной деревне, стояли ловко; наконец мы выбили их штыками, разделили на три отряда, и генерал приказал нам гнать их по трем дорогам, отнюдь не давая соединяться. С утра до вечера наша рота преследовала один отряд; изморились мы до смерти. Шутка ли: верст десять что шаг, то остановка; что пригородок, то стрелок; что дерево, то пуля; что загородка, то работа штыку! Наступила ночь. Мы остановились ночевать в маленьком селении, оттуда все жители убежали; распорядились мы по-своему — развели огни; кто варил и ел, что найти успели; другие стояли на отводных караулах, на ведетах; третьи повалились, кто где смог; неприятеля не было нигде вблизи, но нам не велено было раздеваться. Прошло не знаю сколько времени, — вдруг — тарара! тарара! — заговорил барабан — вставай! Неприятель! Все поднялось, схватилось за ружье; слышим впросонках — пили-паф, пили-паф! Перестрелка. Мы выбежали из избы, где спали, — ночь темна, как

вороново крыло, — бросаемся на улицу, глядим — сверкает огонь из-за огородки, уж в самой деревне — и там, и тут, и здесь! Как прошел, откуда взялся неприятель? У страха глаза велики, да спасибо, русский солдат страха-то в глаза не видывал — только первую дурь надобно было нам стряхнуть.

— Ребята! — закричал капитан. — Не стрелять! Засветите деревню — не трать пороху — штыками очищать, где засел неприятель, — вздор! Это забеглый народ какой-нибудь!

Тотчас затеплилась деревня, будто свечка восковая, мы пошли на выстрелы — стрельба умолкала, утихала, — при свете пожара увидели мы, что в разные стороны бегут там швед, там другой, — скоро вся рота наша выступила из деревни, — светло было, хоть деньги считай... И в самом деле оказалось, что это десятка два шведов сбились с дороги, деваться им было некуда, и они решились врасплох схватить нас — такие сорванцы! И успели бы, да не на тех напали. Казаки, бывшие при роте, пустились за бегущими. Но я уж не видал, как расплачивались товарищи с забияками за нечаянную тревогу.

Когда бросились мы на выстрелы, вижу с полдесятка шведов: за забором полуразломанным стояли они и метили вдоль улицы; огонь изменил им, и от пожара протянулись длинные тени их по снегу. Туда, на забор, через забор — бац! Пули засвистали — чувствую, что-то тепло в ноге, хоть и не больно, — штыком повалил я одного шведа, но другой хватил меня прикладом по голове — я упал и тут только увидел, что сапог у меня полон крови и снег весь покраснел подо мною; товарищи бежали по двору за бегущими. Я хотел подняться, не мог, упал, а в это время с обеих сторон жарко загорелись строения; бревна падали; забор пылал. Я хотел кричать, но ничего не было слышно от треска огня, барабанного боя, пальбы; и наконец все затихло — ничего не стало слышно — огонь окружал меня со всех сторон — снег таял подо мною от жара — я полз на руках, волоча ногу за собою, и скользил в крови и снегу. Наконец перетащился я через огарки и бросился на улице в груды снега, чтобы затушить шинель свою. Думаю: "Вот тебе — подстрелили, да еще и изжарить хотят, собачьи дети!" Тут ста-

ло мне холодно; я дрожал и, наконец, потерял память...

Когда я опомнился, то увидел, что уже день; что нас трое лежат в чухонских санях; чухонец погоняет лошадь, а казак погоняет и его и лошадь. Весь я был как разбитый; санишки такие тесные, длинные, словно гроб, и мне привелось лежать в самом низу, товарищ мой сверху был такой тяжелый, что я не мог пошевелиться; чувствовал, как пальцы у меня захватывало морозом, а простреленная нога горела, будто головешка. Кое-как вытащил я руку, ощупал верхнего товарища — он охолоделый, мертвый. Я начал кричать казаку и чухне, чтобы выкинуть этого тяжелого товарища. Чухна оглянулся и не отвечал ничего; а казак кричал только: "Молчи! Недалеко!"

Ну, Сидор! Терпи, будь молодцом! Ведь уж что сделалось, того не воротишь. Умереть все равно. Читай-ка: "Отче наш" да "Верую".

Нас привезли в полк и сдали в гошпиталь.

— Как? Еще! — вскричал лекарь, когда меня втащили в комнату и положили на кровать.

— Этак их ночью-то перепятнали! — Он за-

курил трубку, подлил из бутылки в стакан свой, стоявший перед ним на столике, хватил добрую и сперва подошел к одному из приведенных со мною.

— Ну! С этим толковать нечего — ему надобен не я, а надобно царство небесное! Эй, неси вон!

— Ну! Ты что? — Он подошел к другому.

— Ба! Это швед — погоди, приятель, дай сперва пособить своему...

Он подошел ко мне:

— Что у тебя?

— Нога, ваше благородие.

— Только бы не голова, а ногу приставим.

Да у тебя обе ноги целы?

— В левой, кажись, пуля — смертно болит!

— Еще солдат не без чего, а хнычет!

— Больно, ваше благородие!

Лекарь осмотрел мою ногу, поднял голову, крякнул, оборотился к помощнику.

— Эй! Инструмент, бинтов! — закричал он.

— Ваше благородие!

— Что ты?

— Аль хотите отрезать?

— Разумеется. Видишь, как ты надурил:

ведь нога-то твоя ни к чорту не годится!

— Помилуйте, ваше благородие! Заставьте вечно богу молить: вылечите так.

— Трусишь?

— Не трушу, но какой я без ноги царский слуга, — вылечите так!

— Садись! Что много калякать! — Он засучил рукава. — Эй! Инструменты!

Уж если б можно было, дал бы я этому живодеру оплеуху, да сил-то не было. Я решился в последний раз показать себя молодцом. Куда больно было: словно жилы тянули из меня; а как начала пила скрипеть по кости, всякий волосок у меня становился дыбом на голове, будто плясать собирался.

Бух! Нога отвалилась. — Прощай! Поминай, как звали.

Наш полковник вошел в это время.

— Еще операция? — вскричал он, сердито смотря на лекаря. — Слушайте: вы будете отвечать мне за вашу охоту резать руки и ноги без толку... Да что это? Ты, Сидоров?

— Я, ваше высокоблагородие!

— Эх, жаль, брат, жаль тебя, жаль молодца!

— Жаль, ваше высокоблагородие, того, что

не удалось умереть молодым.

Полковник поцеловал меня в голову, от-
вернулся, вынул червонец и отдал мне.

Как было не порадоваться, видя такую
честь?

С полгода провалялся я в гошпитале и вме-
сто двух ног вышел из него с полутора-ногой
да с деревяшкой в придачу.

На даровых подводах привезли нашу бра-
тию, калек, в Петербург. Мне предложили ме-
сто инвалидное в Петербурге, но я просил от-
пуска на родину. И вот подписали мне указ:
бороду брить, милостыни не просить. Пер-
вое-то так, а второе-то как бог велит.

Видите, ваше благородие, — пока лежал я
в гошпитале, делать-то было мне нечего, я
раздумывал все про старое и все вспоминал,
что со мной бывало с самого ребячества.
Вспомнил я родину, мать, брата, Дуняшу;
вспомнил, что уж лет дюжину и в голову мне
не приходило, — вся эта старая дрянь вдруг
полезла мне в помышление, и так захотелось
мне повидать родное пепелище, и показалось
мне, будто Дуняша моя еще жива и обрадует-

ся мне, и мать жива, и брат жив. Штыком работать нет способа, а за сохой ходить еще смогу, хоть на моих полутора ногах. Долг исполнен; верою и правдою отслужил Сидор государю и отечеству; можно ему отдохнуть.

Милостивые командиры надавали мне денег, так что купил я себе лошаденку с телегой и отправился домой.

Долго ехал я, ехал — видел и Москву. Наконец однажды под вечер завидел вдали деревнишку родную, остановился, стал оглядываться. Как будто я и не выезжал; как будто лет пятнадцать, которые прошатался я по белу свету, только вчера совершились! Так же солнышко садилось за дальний лесок; так же ночь подымалась слева черною тучею; так же вечерняя птичка щебетала, словно прежде. Деревня наша была прежняя: те же дома, та же грязь, тот же питейный дом с елками, и так же толпится подле него народ, как прежде! Мне сильно захотелось повидаться со всеми поскорее, поздороваться со знакомыми, спросить о своих, и я прямо привернул к питейному.

— Здорово, ребята! — вскричал я.

— Здорово, служивый! — отвечали мне.

Я посмотрел на народ — кой чорт! Никого не узнаю: все новые рожи! Я и забыл, что прошло пятнадцать, двадцать лет. Кто был в мое время старик — того уже не было на свете; кто был молодец — тот поседел и состарился; кто бегал мальчишкой — тот уже давно был женат, и у него бегали мальчишки.

— Что ты смотришь, служивый? — спросили у меня.

— Да смотрю: нет ли из вас знакомых?

— Знакомых? А ты откуда? Из Корочи, что ль?

— Нет, подальше.

— Аль из Курска?

— Нет, еще подальше.

— Куда ж ты плетешься?

— Домой.

— А где твой дом?

— Да где найду добрых людей, а родина моя здесь.

— Здесь? Как так? — Меня окружили.

— Тьфу пропасть! Ни одного старого знакомого. Аль все перемерли?

— Да ты кто такой?

— Сидор бывал, Карпушкин сын.

— Сидор! Будто это ты? — вскричал какой-то седой старик.

— Да, я. А ты кто?

— Эвось! Не узнал Фомки Облепихина!

— Будто это ты, Фомка, лихач, кулачник, забияка?

— Будто это ты, Сидорка, разбойник, плясун, песенник?

Мы глядели друг на друга.

— Так ты воротился домой?

— Да вот видишь — плясать уж не смогу; проплясал, брат, ногу!

— Да ты стар-старьем — этакие усищи седые; да и калека...

Сели мы на лавочку.

— Ну что: жива мать?

— Нет, брат! Через год после тебя скончалась.

— А брат Василий?

— Нет, брат, — прибрал бог!

— А детишки его? Чай, уж теперь мужичье стали?

— Да какие детишки?

— Как: какие? Их было у него с косой деся-

ТОК.

— Парней никого нет. Девки замуж выда- ны.

— Кто ж теперь в нашем доме живет?

— Кто? Да на постое летом ласточка, а зи- мой вьюга гостит.

У меня долго не доставало сил спросить о Дуняше моей.

— Ну, а где ж моя Дуня?

— Какая Дуня?

— Да жена моя, дуралей!

— Как ты все это помнишь. Сидор! Да ведь она умерла, кажется, еще при тебе? Что-то не пригадаю я хорошенько.

Пока мы разговаривали, все другие ото- шли от нас, и никому до меня дела не было.

— Пойдем ко мне. У меня баба все тебе припомнит и расскажет. Им ведь от нечего делать балясы точить, — а много, брат, време- ни прошло — куда много!

Мы отправились с Фомой. Старуха его все припомнила и рассказала.

Я узнал, что Дуняша моя едва могла воро- титься домой и скончалась на руках моей ма- тери.

— Умирая-то, все еще говорила она, будто тебя не в очередь в рекруты отдали, и все еще толковала, как она пойдет просить за тебя губернатора, — да и отправилась с этим в дорогу немного подальше Курска.

Тут словно напущенное обрушилось на нашу семью: вскоре умерла мать; Василий худел, беднял, заливал горе зеленым вином, наконец таскался по миру с ребятишками и умер под тыном у питейного дома; девок побрали добрые люди по рукам и повыдавали замуж, а ребятишки кто умер с худобы, кто разбрелся бог весть куда, так что и слуху нет; избышка, где мы жили, развалилась. Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, однакож в двадцать лет успеет много его наделаться. Вся почти деревня переменяла хозяев, раза два горела, строилась, но опять была она попрежнему, и хозяева такие же, как прежде, только не те, что прежде были.

Напрасно старался я узнать: нет ли хоть кого-нибудь из племянников в живых и куда они раздевались... У мужика память коротка: что за неделю сделалось, он не помнит, — а двадцать лет? Куда тебе! Коли хозяин дома

умер под забором — о домочадцах не спрашивай. "Аще не господь созиждет дом, все труждается зиждущий, и аще не господь хранит град, все бдит стрегий!"

— Варвара! — говорил я жене Фомкиной. — Не можешь ли ты указать мне на кладбище могилы Дуняшиной?

— А! — отвечала Варвара. — Какой ты затайник, Сидор, — будто ты вчера ушел из нашей деревни: спрашиваешь о том, что за 20-ть лет делалось, будто это за неделю было! Ну кто теперь из тех, кто твою Дуняшу помнит, остался в деревне? А кто и остался, куда припомнить: где ее положили? На кладбище — говорить нечего об этом, — а чтобы найти могилу, так рассуди ты сам: сколько после того похоронено народу, — чай, раза три перерывали его сплошь от одного конца до другого...

Тут почувствовал я, что на концах усов моих что-то мокро, — схватил рукой — слезы капали из глаз моих и падали на мои седые усы.

Хозяева поужинали и ложились спать. Я сказал им, что залягу в своей тележке; но я не лег спать, а пошел бродить по деревне.

Ночь была светлая, ясная; все звездочки

небесные высыпали, как солдаты на генеральный смотр. На земле было тихо, так что листочек не шелохнется, а на небе еще тише; люди спали мертвым сном, и мне казалось, что я пришел из могилы, с того света выходец, лет через сотню, не нахожу уж ни родных, ни привета. И все умерли в моей родине, умерли все, кого знавал я прежде, — умерли дети их, умерли внуки; я бродил по опустелому домовищу, где когда-то жил я, жили и другие со мною.

Прибрел я, наконец, и к домишку своему. Да видно было, что он был теперь уж не мой и не наш, а божий. Пустырь с полынью, крапивой, лопушником; и на нем избушка, кровля провалилась, окон нет, вся покривилась, держится на гнилых бревнах, избоченясь, будто смеется и плясать хочет.

Так грустно стало мне... Пойду лучше туда, где есть знакомые жильцы! Здорово, родные! Шевелись, ленивый народ! Выходи на свиданье! Вставай, узнавай Сидора, Федя! Дуня! Мать! Брат!

Но они не шевелились и молчали. До страшного суда определено было им, едино-

жды навсегда, молчать. Тут и горе и радость, все тут, все присмирело и улеглось. Садись на могилу, думай и толкуй себе, что хочешь.

Варвара правду мне говорила, что кладбища я не узнаю. И мертвые, как живые будто, провели это время в суете мирской: все у них было взрыто, перерыто, будто друг у друга отнимали они дома; старые кресты сваливались, новые ставились.

На другой день отслужил я панихиду, подал по душе матери, брата, жены, сына и стал думать, что мне с собой делать?

Мне только оставалось дожить. Калека безногий! Не мне уж было, одинокому сироте, думать о том, как дожить!

Участок поля, который некогда принадлежал нам, был продан давным-давно братом Васильем за штоф вина. Заводить тяжбу с земляками — солдатское ли дело? Да и к чему мне участок? Да и каково станут смотреть после того на меня? Ну, да и чем мне выиграть тяжбу, коли правду сказать?

По милости царской хлеб насущный у меня был. Подумал, подумал я...

Когда на другой день расходился я по де-

ревне, таково грустливо стало мне...

Ну и то, ваше благородие, как увидел я, что за народ мои земляки! Никто ничего не слушал, что я им рассказывал; никто не слышал ни о батюшке Суворове, ни о Бонапарте, ни о Финляндии, ни об немецкой земле... Пропадите вы... И я наярэг свою лошадъ и поехал к тeстю.

Его давно уж не было на белом свете, Дуняшины сестры были такие старухи...

И бродил я потом по чужбине, пока нашел приют здесь, далеко от своей родины. А таким, изволите видеть, образом нашел я его, что нечаянно встретил полкового нашего священника; а ему приятель был священник ближнего села; и этот священник принял меня, видя, что я бегло разбираю церковные книги. Начал я звонить на колокольне, читать апостол в церкви, петь на клиросе. За то взъелся на меня дьячок — хоть я не отнимал у него ни кутьи, ни хлеба. А будто в церкви божией петь да читать запрещено всякому, кто хочет? Священник рад был мне пособить — да ему не ссориться же за меня с дьячком? Тогда открылось место писаря в стано-

вой. Спасибо, отец Алексей постарался; меня определили, и поселился я здесь между добряками хохлацкими. Право, хороший народ, ваше благородие. И так вот усердно слушают, когда что-нибудь им рассказываешь. Здесь теперь редкий мальчишко не знает о Суворове. А это все я им порассказал!

Иногда мне кажется, будто нога у меня еще цела, будто я могу пошевелить ее пальцами, поднимать, двигать ее. Так иногда мне кажется, будто все, что бывало со мною на белом свете, был сон, что я все еще попрежнему мужик и со мною Дуняша, и Федя, и мать... Иногда мне кажется, будто все еще я солдат, с батюшкою Суворовым в цесарской земле, либо с Петром Ивановичем Багратионовым в прусской стороне, либо с генералом Кульневым в этой снеговой чухонской стороне, которую поглядел я, да расплатился за то ногой...

Вот и Петра Иваныча Багратионова нет; и старого генерала Розембергова нет — какие были молодцы — и генерала Кульнева нет — царство им небесное, вечная память! Отцы были солдатские!..

А уж жаль, что эта окаянная деревяшка не

дала мне воли итти под матушку-Москву...

Однакож поздно, ваше благородие! Заговорил я вас. Спокойной ночи желаем и здравия желаем — отвел я с вами душу — договорил...

И он заковылял на своей деревяшке; вдали раздавался голос его; он пел: "Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурей, к тихому пристанищу притек, вопию ти"...

Голос умолк. Все затихло. Еще долго сидел я на том месте, где слышал его рассказы, — мне было так грустно... Но в двадцать лет грусть непродолжительна — это легкий ветерок, который рябит прозрачное лоно вод и через мгновение разлетается под небесами перышкой птички...

ПРИМЕЧАНИЯ

Н. А. Полевой

(Биографическая справка)

Николай Алексеевич Полевой родился в семье купца в Иркутске в 1796 г. Систематического образования Полевой не получил, учился он самоучкой. В молодости переезжал из одного города в другой, в связи с неудачными коммерческими предприятиями отца. Постоянные разъезды помогли ему изучить русскую жизнь.

Впервые в печати Полевой выступил в 1817 г., поместив в "Русском вестнике" стихи и статьи на темы о 1812 г. Поездки в Петербург позволили ему сблизиться с литераторами. В 1822 г. он переезжает в Москву и окончательно отдается литературной деятельности, расцвет которой падает на период издания "Московского телеграфа" (1825–1834 гг.) — одного из ведущих прогрессивных журналов того времени. В этот период написаны луч-

шие повести Полевого (вышедшие отдельным изданием в 1834 г. под названием "Мечты и жизнь"), роман "Клятва при гробе господнем", "История русского народа" и др.

Переломным моментом в жизни и творчестве Полевого явилось запрещение "Московского телеграфа", последовавшее в 1834 г. Причиной запрещения явилась общая направленность журнала, непосредственным поводом — помещенная на его страницах отрицательная рецензия на монархическую драму Кукольника "Рука всевышнего отечество спасла". После запрещения "Телеграфа" наступает постепенное идейное перерождение Полевого как писателя и журналиста и в итоге окончательное его падение. Переехав в Петербург, Полевой сближается с Булгариным и Гречем, редактирует "Северную пчелу" (1837–1840 гг.) и пишет сочинения в духе реакционного псевдопатриотизма (за который прежде он сам осуждал Кукольника и других). В критических статьях, написанных в этот период, Полевой враждует с Белинским. Однако после смерти Полевого, последовавшей в 1846 г., великий критик выступил со

статьей, в которой дал высоко положительную оценку деятельности Полевого в период издания "Московского телеграфа".

РАССКАЗЫ РУССКОГО СОЛДАТА

Печатаются по тексту, опубликованному в сборнике повестей Полевого "Мечты и жизнь", часть I, СПб., 1834.

Стр. 10.

Под ташами — под палатками (таша — нарез из холстин).

Стр. 11.

Торов рог скандинавской Эдды. — Тор — в скандинавской мифологии бог грома. Эдда — памятник скандинавской мифологии.

Стр. 13.

Монтольё, Паулина Изабелла
(1751–1832) — французская писательница.

Август Лафонтен (1759–1831) — немецкий писатель, автор многочисленных сентимен-

талльных романов, рисующих идиллические и нравоучительные сцены семейной жизни.

"Мальвина" — роман французской писательницы Марии Коттен (1801).

Делиль Жак (1738–1813) — французский поэт, автор описательно-дидактических поэм.

Хмельницкий Богдан (род. в конце XVI века, ум. в 1657 г.) — вождь освободительной войны украинского народа в XVII веке против польских помещиков. Способствовал присоединению Украины к России (в 1654 г.).

Голиков Иван Иванович (1735–1801) — историк, автор "Деяний Петра Великого".

Рубан Василий Григорьевич (1742–1795) — писатель, автор хвалебных од и надписей. Издал ряд сочинений по истории и географии (в том числе об Украине).

"Энеида" Котляревского. — Котляревский Иван Петрович (1769–1838) — украинский писатель, автор комической поэмы "Енеида Виргилия, перелицованная на малорусскую мову" (1798) и др.

"Мои безделки" — сборник стихотворений Карамзина.

Стр. 40.

Иверни (ивверень) — осколки, черепки.

Александр Васильевич Рымникский — знаменитый русский полководец Суворов. Прозвание "Рымникский" Суворов получил в честь победы над турецкими войсками, одержанной русскими под командованием Суворова в 1789 г.

Под Кинбурхом. — Здесь подразумевается победа русских войск под командованием Суворова, одержанная над турками 1 октября 1787 г. под крепостью Кинбурн.

Стр. 41.

Алексей Григорьевич Орлов — один из вельмож времен Екатерины II. Под его командованием русские войска истребили при Чесме турецкий флот в 1770 г. и захватили Архипелаг. В честь этих побед Орлов получил титул "Чесменский".

Синее море — старинное название Азовского моря.

Хвалынское море — древнерусское название Каспийского моря.

Железные ворота — Дербент.

Граф Зубов Валериан Александрович — брат фаворита Екатерины II Платона, в 1796 г. был главнокомандующим в войне с Персией.

Русский мясник — подразумевается Минин-Сухорук Кузьма Миныч, нижегородский купец, организатор нижегородского народного ополчения с целью изгнания поляков из пределов России в 1611 г.

Стр. 42.

Король Федор Федорович — Фридрих II, прусский король (1712–1786).

Цесарский император — австрийский император.

Стр. 47.

Фурлейты — солдаты, находящиеся при военных фурах или обозах.

Под Липским. — Липск — древнеславянское название города Лейпцига. Здесь речь идет о сражении под Лейпцигом в октябре 1813 г., окончившемся победой над Наполеоном.

Стефан Яворский (1658–1722) — иерарх, противник одного из сподвижников Петра I,

Феофана Прокоповича, проповедник и автор ряда религиозных сочинений.

Сохатый — созвездие Большой Медведицы.

Кычиги — созвездие Орион.

Стр. 48.

Тильзитово — Тильзит, город в восточной Пруссии. В июле 1807 г. здесь был заключен мир между Россией, Францией и Пруссией.

Бениксонов (Бенигсен) Леонтий Леонтьевич (1745–1826) — русский генерал, участник Отечественной войны 1812 г.

Стр. 50.

Все на полночь... — на север.

Война с шведом — русско-шведская война 1803–1809 гг. Закончилась присоединением Финляндии к России.

Кульнев Яков Петрович (1763–1812) — русский генерал, участник войны со Швецией 1808–1809 гг. и герой Отечественной войны. В 1812 г. был смертельно ранен при Клястицах.

Стр. 51.

Ведеты — ближайшие к неприятелю часо-

вые в передовой цепи.

Стр. 57.

Розембергов (Розенберг) Андрей Григорьевич (1730–1813) — русский генерал, участник итальянского похода Суворова и других войн.

1834

Примечания

"Московский купец" (ред.).

[^^^]